

МАГИЯ  ФЭНТЕЗИ

Оксана ДЕМЧЕНКО



ВОИН ОГНЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АЛЬФА-КНИГА

Оксана Б. Демченко
Воин огня

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4955115
Воин огня: Фантастический роман : Альфа-книга; Москва; 2012
ISBN 978-5-9922-1315-7

Аннотация

Ты сын вождя, наследник славы великого деда, получивший право стать воином огня. Вот бледные, и они враги, – все просто. Бери по праву победителя что пожелаешь, бери и не сомневайся! Пусть гудит гневом пламя, дарующее силу. Ты уверенно владеешь им... однако не владеешь собой. Стоит ли победа в бою такой жертвы? И какие еще принесешь ты, стремясь к величию? И от чего откажешься, чтобы, повзрослев, остаться собой в большом мире, где нет простых путей и однозначных ответов?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	27
Глава 3	50
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Оксана Демченко

Воин огня

Глава 1

Всадник на пегом коне

«В начале времен мир был пуст, его висари называлось совсем просто – покоем и неразличимостью. Но как зима сменяется летом, так и покой иссяк; как лед расслаивается, внизу водой делается, а сверху туманом, так и различия родились из неразличимости. И стали они основой мира: асхи, асари, амат и арих, так мы их зовем, первичных духов. Явившись, они возмутили висари и разрушили, разбили сам мир надвое, расслоив неявленное и явленное. Так возник зеленый мир. И преграда возникла, отделяющая духов от него. Тогда думать стали. Себя отразили в преграде и обрели оба мира, восстановили единое их висари. Сделалось то висари сложным, тонким, и, чтобы не исчезло оно, снова разрывая единое, посадили дерево, вросшее нижними корнями в зеленый мир, а верхними – уходящее в неявленное. Мы, люди, – и есть то дерево. Поэтому у каждого от рождения две души. Левая, явленному принадлежащая. И правая, к неявленному чуткая. Первую утратишь – к духам уйдешь. Второй лишишься – к зверям спустишься. Трудно держать висари, трудно слушать духов. Для того нам даны мавиви. На грани стоящие. Их беречь надо».

(Легенда о происхождении мира, записанная профессором Маттио Виччи со слов савайсари племени макергов; текст хранится в библиотеке университета долины Типпичери)

Утро будило лес неторопливо и бережно. Прошумело зевком ветра в кронах. Зазвенело и улыбнулось бликами качнувшихся листьев. Встряхнулось выюном мошкары, волнуемым плотным слоистым туман, серый, еще ночной...

Пегий жеребец двигался по лесу привычным неторопливым шагом. Иногда пофыркивал, словно окликая своего друга и намекая: хватит по-детски играть в великого охотника! Не время. Они ведь спешат, у них дело. Большое и важное дело, достойное сына вождя. Ради меньшего даже ему не позволили бы ехать верхом, коней у махигов не так много. Тем более таких коней, чья шкура отмечена узором самой Плачущей... По молочному ворсу тут и там ложатся ровные овальные пятна теней, срastaются в сплошной, почти черный ремень на спине, рисуют на морде маску-шлем. Три копыта черны, и лишь правое переднее сияет белизной, как бывает у лошадей с добрым ходом. Стоит на таком коне пуститься в путь по важному делу – и оно обязательно совершится наилучшим образом...

То ли сын вождя пресытился игрой в отслеживание оленей, то ли осознал, что надо беречь время, но свое интересное безделье он прервал и явился, точнее, свалился прямо на спину пегого с низкой ветки.

– У-учи! – победно буркнул сын вождя, успокаивая коня и заодно подбадривая: мол, звал – так вперед.

Людские тропы в диком лесу едва заметны. Так и должно жить, не нарушая святости дыхания зеленого мира. Всадник поудобнее устроился на заменяющей седло шкуре редкого черно-белого ягуара, перетянутой ремнем. Нашарил повод – тонкую косичку, плетенную из трех цветных кожаных шнуров, широкой свободной петлей наброшенную на конскую шею.

Говорят, бледные всегда управляли лошадьми, используя железо. Даже в редком лесу, где не требуется точность приказов и где уже давно не шумят бои. Но нынешние хозяева не оскорбляют коней недоверием, тем более таких – отмеченных драгоценным окрасом, угодным Плачущей.

Седок потянулся в сторону, погладил пальцами кору огромного дерева, какое и троим взрослым воинам не обхватить, вежливо поклонился великану, старейшине этого леса, и щелкнул языком, снова поторопив коня. Он выследил безупречного оленя и долго вел его по тропе, рассмотрел рога, сосчитал все отростки и успел порадоваться: безусловный вожак, ни малейшего изъяна. Он уже был готов прыгнуть на достойного противника, даже гладил извлеченный из ножен длинный охотничий нож и... и прекратил игру. Он сыт, он далеко от дома, он едет по делам, и, значит, этот олень не зря чувствует себя в полной безопасности.

Пегий выбрался из оврага на ровную удобную тропку и пошел «лесным бегом», так называли махиги эту странную помесь прыжков косули и конской рыси, наилучшую для движения по задичалому, холмистому лесу. Капли вчерашнего дождя иногда срывались из поднебесья, с далеких верхушек крон, где шалил ветерок, и летели вниз, скользя по иглам хвои, вспыхивая слезинками Плачущей в низких лучах утреннего солнца... Седок точным движением поймал на ладонь пропитанную солнцем каплю, лизнул и чуть прищурился: сладкая, пахнет недавней весной, еще помнит молодость этого годового круга.

Впереди улыбкой юного дня блеснул прогал опушки. Всадник нахмурил густые темные брови, глубоко втянул воздух. Жилье людей в любом лесу опознается издали. Особенно бледных. Не умеют они пребывать в ладу с зеленым миром. «Не умеют – полбеда, так ведь и учатся неохотно!» – рассердился всадник, вслушиваясь в чуждые лесу шумы далекого поселка. Зачем бледным выделили земли? Да, дед по мужской линии так велел перед смертью. Последнее слово великого воина Ичивы не может быть предметом обсуждения. Даже если оно высказано при явном помутнении разума – так с некоторых пор полагал внук героя. Сейчас именно он хмурился, принимался и решал: погладить пегого по шее, убеждая сойти с тропы и обогнуть вырубку, или шевельнуть повод, направляя коня к прогалу опушки, проехать ее краем и глянуть, как живут бледные. Это ведь его земли, но здесь люди его рода не появлялись, наверное, уже давно. Можно, почти не кривя душой, назвать шевельнувшееся в душе любопытство, долгом перед лесом. И заодно позволить себе со вкусом и без спешки погасить раздражение, вызванное мыслями, чуждым лесу шумом и едва различимым запахом дыма. Так удобно – успокоиться и ехать далее, осознавая свою правоту и силу, если под руку подвернется кто-то из бледных... Приятная мысль, дельная. Всадник шевельнул пятками, выбирая короткий путь вниз по склону.

Он сразу приметил работницу, именно в это время выпрямившуюся от длинной гряды с побегами батара. Так получилось: она дала отдых спине и встряхнула гривой волос, едва пегий вывернулся ящерницей из зарослей и загарцевал на скользком после дождя склоне, сползая, увязая в красной жирной грязи и заодно забавляясь скольжением... В иное время сын вождя, возможно, подхлестнул бы коня и убедил ускорить спуск. Но не теперь. Незнакомая и уже потому интересная девушка заслуживала того, чтобы потратить немного времени. Можно рассмотреть ее и заодно решить, сколько, собственно, этого самого времени тратить. Точнее, стоит ли спешиваться.

Первый взгляд не уму принадлежит, скорее уж наоборот, он – искра безумия. Или зажжет смолистый факел интереса, или угаснет в холодном тумане безразличия. Это потом уже усердный и настойчивый разум расстарается, затеплит костер и пригласит к нему на беседу, позволяющую составить настоящее мнение. Взрослое. Сын вождя поморщился и ощутил, как растет раздражение. Он не желал сегодня сидеть у костра разума. Пусть старики греются и тратят время на нудные беседы. Он-то молод...

Девушка была почти такая же бледная, как остальные жители этой фермы, но и отличия легко опознавались – по тяжести и густоте иссиня-черных волос, пушистых, вьющихся. По заметному оттенку заката на коже, по особенному разрезу глаз, удлинённых, очень крупных, скрытых в тени ресниц... Определенно кто-то отметил своим вниманием ее мать, кто-то из достойных представителей народа махигов. Но, видимо, он спешил, как и нынешний путник. Не оставил бус родства, чтобы, вернувшись годом позже, забрать ребенка. Что ж, хвала духам леса, так гораздо удобнее и проще. Не возникнет долга. Старики говорят, было и лучшее время, когда с собой не возили бус, а бледных числили имуществом и делали с ними все, что душе угодно. Они другого обращения едва ли заслужили! Подлые бездушные злодеи, явившиеся в зеленый мир и принешие войну. Многие и теперь считают бледных не людьми, полагая новый закон ложью и знаком слабости махигов.

– У-учи, – усмехнулся седок, бросая повод и тем замедляя спуск еще более.

Он-то не слаб, и он имеет право как сын вождя и внук вождя. Полукровки почти всегда красивы, да что там, давно известно: именно они обладают сложным и неповторимым обаянием, делающим их неотразимыми. Лица полукровок неправильны, от бледных матерей они получают излишне пухлые губы и слишком узкий выступающий нос, часто и цвет глаз далек от почитаемого наилучшим – карего... У этой работницы глаза синие. Плечи узковаты. «Бледный народ, – как сказал однажды двоюродный брат мамы, – не обладает силой, даруемой лесом». Но в хрупкости есть своя прелесть. Прежде друг пегого коня оспаривал и высмеивал подобные рассуждения, но теперь убедился воочию...

Бледные женщины обычно слабогруды, под нелепой мешковатой рубашой без пояса тело едва проступает, а жаль. Хотя кто мешает подойти поближе и проверить, хороша ли грудь и широки ли бедра? Эта мысль в единый миг разогрела кровь, толкнула руку с поводом, и пегий всхрапнул, затанцевал злее и сместился вплотную к низким жердям ограды батарового поля.

Сын вождя поправил в волосах длинное перо, иногда норовящее выскользнуть из косицы. Если полукровка унаследовала от отца не только цвет кожи, имеет смысл подумать, а не задержаться ли тут на весь день, чтобы бросить ей завтра бусы? Всадник одним движением спешился, наступив на жердь и спрыгнув на мягкую землю возле крайней гряды. Еще полный годовой круг его судьба будет в руках Плачущей. До тех пор он вполне свободен в выборе бледных, особенно здесь, во владениях рода махигов...

Внук великого воина Ичивы шел по влажной прохладной красной земле, ступая босыми ногами мягко, как на охоте, без звука перетекая и подкрадываясь. Солнце рисовало его тень впереди, ветерок играл двумя перьями орла в причёске, давая рассмотреть оба и подтверждая: это идет сам старший сын вождя. Большая честь для ничтожной бледной даже стоять рядом с ним, а эта нелепая полукровка словно не знает закона, замерла без движения, не убежала, но и не упала на колени, не сгребает волосы так, чтобы он мог удобно их прихватить на темени. Не делает и иных знаков, лишь стоит и смотрит. Прямо, в упор. Не моргая, не отводя взгляда. Надо полагать, старается себя показать в наилучшем свете и заслужить бусы. Еще бы... такие глаза – чудо.

Сын вождя взгляделся, задохнулся – синее пламя чужого взора было огромно. Сердце дрогнуло – и жар разгорелся в груди, заполнил все существо, испепеляя и уничтожая нелепый, годный лишь для стариков разум.

– У-учи. – Махиг ласково улыбнулся нелепой девчонке, не умеющей себя вести, прямо-таки дикой. Он заподозрил с растущим интересом: наверняка никто еще не снисходил до нее, а это особенно занятно... – У-учи, стой смирно. Вот так. Хорошая девочка, у-учи...

Полукровка задышала часто и испуганно, неловко перехватила бронзовый, цвета кожи настоящего махига, нож. Сталь для бледных, к тому же живущих отдельными поселениями, – под полным запретом. Но и этим тупым ножом, годным лишь для удаления сорняков и

рыхления, она попыталась ударить. Пришлось чуть отодвинуться. Отец много раз повторял, что злость у бледных неизбежна, она течет в их стылой подлой крови... Не зря эта кровь проступает в жилах синевой, словно метит вены изморозью зимы. Он слышал от старших, да и приятели шептались, намекая на взрослость и похваливаясь вроде бы богатым опытом: женщины бледных не так хороши, как женщины истинных махигов. Но пока он слишком молод, чтобы знать решение Плачущей, и потому своего мнения не составил, сравнивая. Полукровка закусил губу и замахнулась повторно.

– Бешеная ты, что ли? – Сын вождя повысил голос, снова ощущая приступ злости к пришедшим.

Вывернул тонкую руку резко, до хруста, вынул нож из ослабевших пальцев и отбросил подальше, презрительно морщась и слушая, как девушка стонет и охает. Полукровка, но боли терпеть не умеет. Значит, кровь матери оказалась в ней сильнее отцовской, страх и слабость – ее удел от рождения и до конца дней... Таким не оставляют бус. Чуть помешкав, сын вождя прихватил волосы на темени, сгибая к самой земле тонкое, даже тощее, тело. Снова поморщился. В некотором замешательстве осмотрелся. Прополка на поле почти завершена, дождь вчера шел весь день, кругом, куда ни глянь, сплошная красная грязь...

Он более не ощущал за собой правоты, эти слезы и стоны стучались в его правую душу и будили целый рой сомнений. Отец говорил: «Бледные лишены большой души, поскольку они чужие лесу. О них следует думать меньше, чем о любом олене или даже волке... Их можно убивать ради забавы». Нет, именно так отец не сказал, но были и другие, взрослые и уважаемые воины, те, кто пояснял и наставлял, объяснял и учил... Да что воины, даже сами бледные кланялись сыну вождя и твердили: «Все в этих лесах – твое!» Вот только дед по женской линии советовал жить своим умом и прислушиваться к голосу сердца, а не к трескотне глупых чужаков. Дед вздыхал и сетовал: «Нынешний вождь – и тот глуховат. Или его сердце онемело?»

Сын вождя сердито встряхнул головой и замер. Для мужчины сомнения, тем более выказываемые явно, – слабость, так учил отец. Юноша огляделся, разыскивая удобное сухое место, тем самым давая себе время унять жар, заполнивший душу, пряча сомнения за делами и простыми мыслями...

Когда был молод его дед по крови отца, в этих лесах жили иначе. Не было ни бледных, ни лошадей, ни привычки строить дома, основывая постоянные поселения, привязывая себя к месту от первого до последнего вздоха. Свобода пропитывала воздух, роднила с лесом и дарила радость... Увы, прошлого не вернуть. Бледные сожгли мосты на берег минувшего, где навсегда осталась, доступная теперь лишь в воспоминаниях уцелевших стариков, прежняя жизнь зеленого мира и населяющих его людей. Никто не звал бледных. Сами пришли, явились из-за горизонта на своих огромных кораблях, ничуть не похожих на рыбацкие лодки. И не просто поселились, но принесли войну, сделали реки красными и горячими от пролитой крови махигов и иных людей леса, степи и гор. Вступили своими обутыми ногами на лесные тропы, вытаптывая траву и разрывая дерн. Заставили стонать и вздрагивать могучие горы. Оскорбили мир, подрубая лесных старост, – самые высокие и славные деревья. И зачем? Всего лишь ради дров...

Его дед по мужской линии, славный вождь Ичива, тогда первым разделил душу и обрел силу, это помнит наставник Арихад, великий воин и мудрец, который больше иных сделал для военных побед. И теперь внук великого Ичивы вкушает плоды побед. Он, юный Ичивари, ездит на пегом коне, живет в большом удобном доме и знает границы своих лесов. Границы, само появление которых украло у народа махигов свободу и сделало сладкий воздух затхлым. Знание бледных не утекло в море вместе с их холодной кровью. Увы, в довершение бед все тот же Ичива, дед по линии отца, перед смертью сошел с ума и запретил жаждавшим мести воинам умертвить всех пришедших. Зря, они подлые и слабые. И знание их чужое, не

следовало его перенимать, не стоило впускать в этот мир, первозданный и совершенный. Того и гляди опасный яд впитается в кровь махигов, и люди леса начнут носить обувь даже летом. Многие уже теперь мерзнут, их дух ослаб, а пальцы сделались холодны...

Полукровка взвизгнула и извернулась. Ответная злость вспыхнула с новой силой. Ну что за ничтожество! Вывих – это не повод для криков. Истинный махиг должен молча терпеть любую боль. Если бы великий дед Ичива выжил в том бою, если бы он сохранил свою мудрость единения с силой огня – он бы не допустил нынешнего позора. По причине предсмертной слабости деда Ичивы бледные и теперь живут на красной земле. Им даже позволяют строить жилища и выбирать себе вождей. Им разрешают учить детей языку народа леса, а некоторых и письму. Их допускают на большой торг, хотя еще не так давно самих держали в загонах для скота...

Ичивари дотащил упирающуюся и всхлипывающую полукровку до сарая. Каждую осень в такие собирают сухие стебли батара, чтобы жечь их и обогреть жилье. Летом сарай пустует, утоптанная земля в них покрыта циновками, в углу хранятся бронзовые ножи и тупки. Полукровку он швырнул в сарай и замер на пороге, морщась и с растущим презрением рассматривая ее, жалкую, скорчившуюся, покорную. Бледные, как однажды сказал славный ранвари Утери, вызывают отвращение. Они так ничтожны и слабы, что снисходить до них непросто, не закипает в полную силу кровь, да и пахнут они как-то чуждо, даже, пожалуй, неприятно. Кожа у них рыхловатая, словно они все время болеют. Противно. Еще хуже то, что нет ответного огня...

Мгновенный порыв, вынудивший спешиться, угас. Бледная в тусклой тени сарая больше не казалась красивой и желанной. Ее поведение вызывало сомнения и раздражение. Но и вымещать злость на кричащей из-за одного вывиха – тоже нелепо, даже смешно. Ичивари, сын вождя народа махигов, все еще стоял на пороге лишь потому, что не знал, достойно ли это воина: просто отвернуться и уйти. В конце концов, она полукровка и вполне могла понадеяться на бусы, обомлев от счастья: когда еще представится возможность лицемерить самого сына вождя, редкостного гостя в здешнем убогом селении... А ну как она – болтливая лгунья? Станет трепать языком, порочить имя потомка Ичивы в своем жалком селении. К тому же он так и не проверил, достойно ли внимания тело. Вот проверит, убедится, что нехороша, – и уйдет, получив веский повод.

Пришлось без всякого азарта охотника войти в сарай, снова сгрести темные волосы и дернуть голову вверх. Второй рукой нащупал край рубахи, сотканной убогим способом, который разрешен бледным. Ткань легко поддалась, расползаясь. Так и есть: тощая, слабогрудая. Снова кричит, опять жалуется на вывих. Пришлось вправить руку, чтобы унять постыдный визг. Он так старался сделать все быстро и ловко, что упустил движение второй бледной руки и смог перехватить нож лишь на излете, у самого живота. Тупая, сточенная красной землей бронза все же успела чиркнуть по коже такого же яркого закатного цвета, удар пришелся в место над самой бедренной повязкой.

Ичивари ненадолго задумался, рассматривая нож. Нашарила на полу, это понятно. Но зачем? Возможно, решила доказать силу крови отца. Что ж, попытка достойна некоторого уважения. Конечно, он сын вождя, она ему не ровня. Должна была сама сообразить, едва заметив два орлиных пера в волосах... Из царапины на животе одной-единственной алой росинкой выступила кровь. Но и это неоспоримо. Ичивари нехотя пожал плечами и в два быстрых движения вывернул полукровке оба локтя.

– На что претендуешь? – спросил он, медленно и отчетливо выделяя слова, когда она устала кричать и затихла. – Ты понимаешь речь леса?

Губы полукровки стали серыми, прямо-таки мертвыми. Пришлось похлопать ее по щекам, приводя в чувство. Как общаться с таким вот нелепым народом? Сама нанесла ритуальную рану, и что? Льет слезы и молчит.

– Ты понимаешь речь моря? – спросил Ичивари на языке бледных, избрав самое пространное в их поселках наречие тагоррийцев. – Не молчи, иначе вырежу язык, чтобы ты имела право молчать...

Вся мерзость бледных – в их неумении быть людьми. Они не контролируют своих дел и желаний, они прячутся за своими слабостями, отказываясь отвечать за содеянное. Надо полагать, полукровка не наносила ритуальной раны, просто ненадолго сошла с ума от страха, так бывает с ничтожными. Только сделанного не вернуть. Рана нанесена. Ичивари холодно усмехнулся. Он один и знает об этой царапине, но разве он станет лгать и даже просто молчать о случившемся ради полукровки, оправдывая и покрывая ее постыдную трусость? Зачем? Он – сын вождя, а дикая совсем не оценила уделенного ей внимания. Значит, тем более заслуживает наказания. Он готов был снизить и даже подумал о бусах, почти всерьез или даже совсем всерьез...

– Здесь кровь махига. – Он указал на потемневшую и уже подсохшую каплю на своем животе. – Закон гласит: бледный, пожелавший увидеть цвет нашей крови и не намеревавшийся совершить убийство, заявляет тем самым о своем праве жить в лесу, которое должен подтвердить, пройдя испытание. Я мог бы дать тебе выбор, но я спешу. Понимаешь? У меня нет времени, значит, жажда и голод отпадают. Остаются огонь и сталь. Огонь для женщины – плохо, он тебя слишком сильно изуродует.

– Умоляю меня простить, великий вождь. – Полукровка наконец-то смогла совладать со своей болью. – Это была случайность. Умоляю...

Она была ниже Ичивари самое малое на полторы головы, он заметил, пока шел по полю. Она стояла на коленях с вывернутыми локтями и плакала. Совсем беспомощная. Она вызывала сложные чувства – смесь гнева, отвращения и тянущей мучительной боли. Огонь в душе угас. В левой, малой. Правая была пуста и темна... Как можно нанести рану и отказаться от сделанного? Как можно не принять предложенного права жить в лесу? И что еще хуже: почему ему почти жаль эту тощую полукровку? Лес мудр, он дает выжить сильнейшему. И ни единая травинка в этом лесу не вздрогнет от жалости к бледным чужакам. Тем более не пожалеет он – внук вождя Ичивы, однажды побывавшего в плену у бледных, не получившего от врага ни капли жалости, только чистую боль...

Ичивари встряхнул волосами и усмехнулся, усердно гася тлеющие в душе глупые искры жалости. Обошел девушку и стал выбирать из кучи бронзовые ножи, грубо сделанные и сильно сточенные работой. Прихватил моток взлохмаченной старой веревки. Жалось угасла, позволяя думать спокойно и логично. Как бы поскорее устроить испытание? Проще и удобнее всего – срезать кожу со спины или...

– Умоляю, я буду послушной... все, что вам угодно, умоляю, – всхлипнула полукровка.

«В любом случае надо ее как следует привязать», – продолжил молча рассуждать Ичивари, раздражаясь все сильнее. А как не злиться? Сперва это ничтожество ему, сыну вождя, норовило отказать – уже нет сомнений, именно так и было! Теперь же бледная хочет сослаться на слабость и избежать испытания, вполне обыкновенного для настоящих махигов и не угрожающего жизни. Слабая ноет и стонет, наглядно проявляя покорность и предлагая ее как товар. Ему же, недавно отвергнутому! На его земле, в его родном лесу, где ни один бледный не имеет права спорить и возражать сыну вождя.

Злость стала черной и холодной, как ночная вода. Ичивари бросил веревку и оба бронзовых ножа. Потянул из ножен на бедре охотничий, стальной.

Следует совершить необходимое – перерезать ей горло. Так велит закон. Потому что полукровка только что неосторожно и вполне отчетливо призналась, извиняясь за намерение: она виновна, поскольку пыталась убить. Воин огня Утери как-то обронил с презрением: «Ты еще не воин, на твоём ноже нет крови убитых тобой врагов. Твоя душа не прошла очищения огнем гнева, избавляющего от ложных сомнений». Сегодня внук Ичивы докажет, что

он – воин и взрослый. Он исполнит должное и тогда гордо покажет свой нож наставнику. Тот, кто близок великому духу ариха, будет доволен. И не откажет в ритуале разделения. Может статься, даже приблизит его срок...

Нож удобно лег в руку. Собственного изготовления, живой, еще горячим выкупанный в крови своего хозяина, с узором лучшей стали, серым и вьющимся, как туман поутру... Широкое лезвие, рукоять из рога оленя отделана серебром, обмотана тонким шнуром из лучшей кожи.

Можно перерезать горло и тем сократить агонию. А должно – по старому закону так и следует поступить – в точности вернуть удар. Пнуть полукровку, сваливая на циновки. Прижать коленом бедра, а рукой – плечи. Разрезать рубаху, обнажить живот. Установить нож на ее теле там же, где на бронзовой коже сына вождя остались метка и капля крови. И вогнуть до рукояти...

– Умоляю, – без надежды в голосе всхлипнула полукровка.

Ее можно понять. Ударила ведь так, что лучше и не прицелиться... или – хуже? Когда он вернет бледной этот удар, она станет умирать медленно, полный день, а то и дольше. Придется оставить в ране нож... Ичивари поморщился. Зачем он поехал по опушке и зачем спешился? С бледными всегда так. Ничего хорошего, только черная злость и отвращение. Стыдно признать очевидное: он не способен ударить в живот... Он слаб духом, и, увы, он еще не воин. Да и дед Магур не одобрил бы, хотя дед по линии матери воевал с бледными, и слава его в чем-то даже выше славы Ичивы. Мужество деда Магура неоспоримо, и никакой Утери ему не указ...

– Хорошо, я учту твои слова, – нехотя буркнул Ичивари, с каким-то отрешенным отчаянием удивляясь, как далеко все зашло и как вдруг сделалось невозможно просто уйти. Будто бы он, сын вождя, не свободен на своей земле. – Просто перережу горло. Так удобнее и быстрее. Я ведь спешу...

Полукровка попыталась что-то сказать, уже губы дрогнули, но звук так и не родился. Видимо, осознала бессмысленность своих криков и жалоб... Но смотрит так, что чернота слева на душе копится все гуще и тягостнее. А справа вовсе камень повис, тянет к земле. Рвет большую душу.

Может, чем-то накрыть ей лицо? Ичивари обозлился окончательно, рванул волосы, вскидывая узкое бледное лицо выше, чтобы нож прошел удобно. Колебался еще какое-то мгновение, не понимая смысла сомнений, причиняющих худшее мучение, чем любая попытка у столба боли. Он готов был поддаться и двинуться прочь от сарая. Может, вся беда в том, что глаза у нелепой девчонки – синие, совсем как весеннее небо над лесом. Словно она имеет право считаться родной здешнему миру. Но нет, такие глаза у бледных называют «цвета моря», значит, все его сомнения – обман и происки темных духов... Ичивари повел бровью, найдя довод убедительным. Деловито, уже без лишних мыслей, глянул на лезвие своего охотничьего ножа, избегая смотреть на синеглазую.

Он воин. Он имеет право. Он даже должен. Он...

Полукровка сморгнула, из левого глаза по щеке покатились слеза. Сын вождя еще раз молча убедил себя: он уже справился с сомнениями, воин лишен слабости. Надо перемочь дурноту и стать взрослым. Одолеть и эту пытку сомнений. Он всегда справлялся и находил в себе силы. Уже почти нашел.

Ичивари резко выдохнул – и начал опускать сталь к шее.

И замер. Слеза скатилась по бледной щеке, упала на циновку и осталась лежать, круглая и яркая.

Настоящая Слеза, знак самой Плачущей.

Это было невозможно. Если бы небо рухнуло на лес, он удивился бы гораздо меньше. Все утратило смысл, все рассыпалось в прах и сгинуло. Сам махиг отпустил волосы жертвы,

не заметив этого. Привычным движением убрал нож в ножны и сел на циновку, непрерывно глядя на Слезу и боясь утратить чудо. Вздрыгнул, опомнился, быстро вправил локти бледной – уже понятно, наказывать ее не стоит, пусть приходит в себя. А пока не до того, надо склониться, рассмотреть лучистую яркую каплю, не сгнувшую и теперь. И не почерневшую! Ичивари бережно и неуверенно тронул каплю кончиками пальцев. Она качнулась на сухих листьях батара, сплетенных в циновку. В ушах зазвенело тихо, но отчетливо, сердце сдвоило удары – отозвалось на звон, потеплело. Черные мертвые Слезы кричат болью и тормозят сердце, прокалывают холодом. Эта – живая, нет сомнений. Живая Слеза! У него на ладони – чудо. Дар духов. Знак.

Мысли в голове плыли, колебались и прятались в плотном дыму недоумения. Почему Плачущая отметила своим вниманием это ничтожество? Почему подала знак ему, сыну вождя, через столь чуждое лесу существо? Наконец, как понимать знак? Ведь он обязан сам истолковать и сам исполнить...

Тяпка прорубила дым недоумения в один взмах, Ичивари даже не успел увернуться. Слишком много думать, как и говорил наставник Арихад, вредно... Отворачиваться от врага – вредно вдвойне. Бешеная девчонка, пережив близость смерти, ничуть не поумнела, даже наоборот, стала злее прежнего. Она ударила изо всех своих невеликих сил и уже замалывалась снова, хотя руки болели – вон как закусил губу, на щеках сплошные дорожки слез... Ичивари тяжело вздохнул, отобрал тяпку, прикидывая, каких размеров будет синяк на спине. Подвигал плечами, проверяя, не треснуло ли ребро и не следует ли сделать плотную повязку. Искоса глянул на бешеную, отшатнувшуюся в угол и шипящую затравленно, но по-прежнему злобно. Она нагнулась, пробуя дотянуться до ножа... Глазищи стали темными, словно гроза в них полыхает.

Ичивари усмехнулся с некоторым одобрением, тьма в правой душе проредилась, напряжение ушло. Если бы эта полукровка сразу и толком полезла в драку, он бы не стал творить невесть что, пересиливать ее упрямство, настаивать. Он всегда уважает тех, кто умеет или хотя бы пытается быть сильным. Но теперь он окончательно запутался: что с нелепой девчонкой делать дальше? Пока, очевидно, – держать за предплечья по возможности плотно и втискивать в угол, хоть так прекращая ее попытки пинаться ногами. Два раза попала чуть ниже колена – больно, между прочим, и опять же синяки... Если он не прикончит дикую, как объяснит их появление?

– Урод! Заделался в хозяева леса! Горелый пень! Падаль! Головешка!

Она теперь еще и кричала... На языке леса, причем без малейшего искажения произношения. Слушать оказалось забавно. Ичивари молча внимал и кивал, когда оскорбления бешеной полукровки получались особенно удачными. Сердцу ее шум приятен. Сын вождя даже подсказывал слова, если дикая запинаясь и смолкала. Пусть покричит. Потом успокоится и тогда-то станет возможно наконец понять, что же происходит. Сил в тощем теле немного, надолго их не хватит. Даже теперь полукровка держится на одной злости: она вся дрожит, вырываясь, почти висит на руках у махига...

– Закончила? – осторожно уточнил сын вождя. Усадил обессиленную полукровку в угол и бережно подобрал выроненную Слезу. – Почему ты сразу не сказала, что у тебя есть муж или что ты не ищешь бус? Исполнила бы закон, вежливо собрала бы волосы на затылке и заодно показала знак семьи...

– Ненавижу. Головешка горелая! – совсем тихо выдохнула полукровка последнее, видимо, обвинение и поникла.

– Поедешь со мной, – решил Ичивари. Вскинув легкое тело на плечо, он пошел через поле назад, к своему пегому, общипывающему траву за оградой. – Со мной тебя лес не обидит. Надо разобраться, что за знак мне послан. Это великий день. Много лет, насколько я знаю, махиги не получали живых Слез.

Он добрался до изгороди, подозвал пегого и посадил полукровку на жердь. Перепрыгнув с перекопанного поля на траву, потоптался, счищая с ног грязь. С сомнением погладил шкуру ягуара. Сажать бледную на спину такого коня, да еще в почетное седло пестрого меха... Но своими ногами она вряд ли пойдет быстро и тем более охотно. Вон опять шипит, морщит лоб, не иначе выдумывает очередное оскорбление. Ичивари снял с коня повод, захлестнул запястья девушки петлей и проверил, плотно ли и удобно ли получилось. Перенес пленницу и усадил на светлую шкуру. Похлопал коня по шее и пошел к лесу. В груди копилась несуетливая тихая радость, словно теперь все правильно и сохраненная жизнь полукровки гораздо ценнее ее гибели, угодной старому закону, и даже важнее собственной, немного надуманной взрослости внука вождя.

– У-учи, Шагари, – сказал Ичивари пегому коню. – Идем. Не стоит глядеть на дома и дела бледных, иначе застрянем тут надолго. Эй, всадница священного коня с белым копытом! Может, прекратишь шипеть и назовешь свое имя?

Ответа не последовало. Новая волна злости, темнее и тяжелее прежней, накатила резко, накрыла с головой. Он мирно говорил с бледной. Он позволил ей ехать верхом, он убедил себя забыть все глупости, содеянные ею, и даже не казнил за преступление! И что в ответ? Ничего. Его старательно не замечают... На его земле, в его лесу!

Пегий взобрался на склон несколькими прыжками. Ичивари едва угнал за конем. Он вымазался в красной грязи и разозлился еще сильнее. Пленных не возят в седле! Их водят за конским хвостом, накинув на шею петлю. Там им самое место. Почему он не ощущал радости, когда бледная кричала от боли? Теперь бы он послушал ее жалобы, даже охотно рассмеялся... и добавил боли.

Сын вождя миновал опушку, остановил пегого и снял его всадницу. Она уже снова всхлипывала, терла связанными руками глаза. То ли вся сила крови отца иссякла и снова накатила слабость бледной матери, то ли просто детские капризы одолели... Сейчас, глядя на бледную в упор, Ичивари с некоторым смущением предположил: на лицо она выглядит старше, чем есть на самом деле. Когда утром он спрыгнул из седла и пошел по полю, думая о бусах и прочем, то полагал, что девушке не менее шестнадцати годовых кругов. Теперь усомнился. А если ей нет и четырнадцати? Дети вне любых дел взрослых. Не она нарушала закон – он сам был неправ. Но он – сын вождя! Надежда рода.

Синеглазая смотрела в упор, моргая, стряхивая с ресниц обычные соленые слезы и шмыгая распухшим красным носом. Жалкое зрелище. Но в глазах по-прежнему вспыхивали гроззовые огни, и потому смотреть в их хмурую синеву было занятно. Он даже увлекся и подзабыл, зачем спешил полукровку, он снова был беззащитен, поскольку окончательно расстался с недавней острой жаждой причинять боль. Обида на странную девчонку сгинула быстро и без следа. Теперь Ичивари растерянно и даже чуть смущенно думал, стоит ли заставлять полукровку идти пешком за пегим, ведь леса не понимает и...

Девчонка резко отстранилась, снова зашипела, злее прежнего. На плече мелькнуло нечто черно-белое, меховое. Ичивари не успел осознать и уклониться. Откуда у дикого скунса могла взяться привычка прыгать на руки к бледной чужачке? И тем более нападать на сына леса... Слезы залили глаза, кашель подступил к горлу. Ичивари отшатнулся. Услышав звук стали, покидающей ножны, сделал еще шаг назад и выругался.

Он стоял, упираясь спиной в круп пегого коня, на боку болтались пустые ножны, а о том, куда делась полукровка, не хотелось даже думать. Лес покачивал мелкими веточками под вздохами насмешника-ветра. Солнышко шурилось и подмигивало сквозь древесные кроны. Скунс без суеты двигался к кустарнику, гордый исполненным делом... Ни одна травинка не примята так, чтобы дать след. Ни одна сухая веточка не хрустит вдали, выдавая движение полукровки. Белки и сороки – и те словно в сговоре, молчат!

– Я горелый пень, – невесть с чего припомнил Ичивари шепотом. – Я этот... хозяин леса. Куда теперь идти? Вот позор-то... Скажу наставнику: «Меня ударила тяткой и обокрала бледная четырнадцати годовых кругов от роду». Он спросит: «Что ты сделал с ней?» И я отвечу: «Упустил связанную в лесу и позволил украсть мой нож». Я буду посмешищем на всех землях махигов.

Сделав столь мрачный и неоспоримый вывод, Ичивари нахмурился, стал серьезен. Собственно, какие тут шуточки! Его нож у бледной, это недопустимо. Уйти отсюда, не вернув себе оружие, невозможно. Продолжить путь, не наказав бешеную и не разобравшись в природе появления Слезы, – недопустимо. Хотя смысл знака ясен, пожалуй. Плачущая заранее скорбела о нем, самом бестолковом сыне народа леса. Возможно, это начало конца. Когда осенью следующего годового круга он принесет дары и испросит права разделить душу и обрести силу ариха, духи его не услышат.

– Ну погоди, бешеная! – мрачно пообещал Ичивари. – Мы еще посмотрим... Я поставлю тебя у столба боли и испытаю огнем, меньшее отмщение не возместит оскорблений, нанесенных мне, старшему сыну вождя народа махигов. Клянусь...

Клятву следовало принести на крови, рука сама потянулась к ножам – увы, пустым. Ичивари еще раз тяжело вздохнул и даже чуть ссутулился. Проклятушая полукровка лишила его даже возможности гордо произнести слова, подобающие сыну вождя. И что остается? Ползать по траве, щупать ее, искать камень с острой кромкой или нудно ковырять руку обломком палки, добывая хоть несколько капель крови, – это почти то же самое, что признать заранее клятву неполной и, значит, необязательной к осуществлению...

– Ну, погоди! – Пришлось ограничиться угрозой, достойной разве что ничтожной женской ссоры, и показать лесу кулак...

Высоко в кронах, пронизанных солнцем, защелкали белки, в их голосах Ичивари почудилась насмешка. Сын вождя, побежденный скунсом! Сын вождя, дерево жизни которого совсем скоро обрастет семнадцатым годовым кольцом. Почти взрослый. Если по росту и плечам судить – так ему легко дать и восемнадцать, и девятнадцать: он вырос в деда Ичиву, ширококостным и статным. Но не обрел дара воина и мудрости вождя... Как показаться перед людьми, путь даже и бледными?

Кожа на плечах чесалась все сильнее, глаза слезились, подтверждая известное каждому правило: не стоит рассматривать хвост рассерженного скунса. Ичивари пожал плечами и покосился на пегого. Верный Шагари не предал друга: даже не отодвинулся, хотя запах донимал и его. Видно, как вздрагивает шкура.

– Пожалуй, месть подождет, – буркнул Ичивари. – Сперва мы найдем большое озеро и как следует искупаемся. Потом я наловлю рыбы и отдохну, а ты испробуешь самой сладкой прибрежной травы. Никуда эта бешеная не денется. Вон – красная глина. Ее ноги запачканы, след будет явный.

Успокоив себя и обрета цель, Ичивари огляделся еще раз, теперь уже спокойно и без суеты. Он знал здешние леса, как и любые иные в границах земель народа махигов. Он своими ногами исходил тропы и пальцами прочертил их на карте. Уже тридцать годовых кругов выросло на стволах с тех пор, как удалось вывести у первого поколения людей моря самые ценные их знания, в том числе секрет бумаги, устройство компаса, изготовление карт, а также иные точные способы ориентирования. Озеро Белых Туманов лежит к закату, в десяти километрах¹ от поселка бледных.

Ичивари похлопал пегого по шее, поднял голову, подставляя лицо солнцу и понадежнее определяясь на местности. Смешно и грустно. Что осталось от исконного языка леса после

¹ Возможно, кто-то подумает: «Километры для дикарей – это слишком нелепо, автор!» Может быть. Однако происхождение этого слова в нашем случае весьма специфично и будет позже подробно объяснено. – *Примеч. авт.*

принятия стольких новых слов и понятий?.. Что осталось от привычного уклада жизни?.. Того и гляди дети его детей разучатся находить тропы без компаса и карты. Позор. И, что вдвойне неприятно, отказаться от полученного знания не под силу уже никому из людей леса. Чтобы провести границы и не воевать с соседями за охотничьи угодья или торговые тропы, нужна карта. А ведь именно постоянные ссоры с соседями и были одной из причин побед бледных в самом начале их нашествия... Это люди леса запомнили и усвоили. Как и люди гор и степи. Они взяли у бледных их силу, сокрытую в знаниях, сели в большой круг и нарисовали границы, установив мир меж племенами не на один сезон – навсегда. Давно это было. И ведомо об этом каждому малышу.

Сын вождя грустно усмехнулся. Чтобы нарисовать карту, требуются стол, чернила, бумага... Стол стоит в комнате, она – часть дома. Окна этого дома куда удобнее застеклить, чем затянуть бычьим пузырем. Если так пойдет дальше, старосты леса – лучшие деревья – снова окажутся под угрозой. Это слова мудрого Магура, деда по линии матери. Даргуш, отец Ичивари и нынешний вождь рода махигов, утверждает, что старик сошел с ума и впал в детство. Он так и сказал при всех, на большом осеннем совете. То есть почти так... Сам Ичивари не слышал слов отца, но ему передали надежные люди. И еще после долгих расспросов родичи по линии секвойи нехотя подтвердили: дед Магур встал, рассмеялся, сложил свое старое одеяло из валяной шерсти, кинул на плечо, чуть поклонился вождям и старикам.

– Муж моей дочери вырос и более не нуждается в советах, – с долей насмешки сказал старик, едва ли не в первый раз вслух признав, что Даргуш ему не кровный сын. Хотя до того дня иначе, как сыном, Магур вождя не называл. – Значит, я свободен. Наконец-то я могу уйти из вашего пропахшего дымом поселка. Здесь земля вытоптана, а лес мертв. Я махиг, а не бледный, мне тут не место.

Он ушел в лес, гибкий и стройный, как молодое дерево, хотя на стволе его жизни уместилось в ту осень семьдесят шестое годовое кольцо. Ушел один, не оборачиваясь, – это видел сам Ичивари, прибежавший и замерший у опушки в нерешительности. То ли мчаться за дедом, то ли утешать плачущую навзрыд маму, без сил севшую в траву. Так и получилось: дед ушел один, а слова его остались висеть в воздухе, как тревожный запах далекого пожара...

Перемены в укладе жизни грянули настолько резко, что никто, кажется, действительно не был готов к ним. И никто не знает, как и куда вести народ, а значит, нельзя безоглядно винить отца в жестокости и называть слепым. Это тоже слова деда Магура. Когда зимой Ичивари нашел его стоянку в лесу, было много времени на разговоры. Огонь крошечного охотничьего костерка без спешки грыз комель сухой елки. Дед сидел и свежевал оленя. В тонких мокалинах, в штанах из кожи, голый по пояс, только на спину наброшено неизменное одеяло. И было ему ничуть не холодно... В жилах истинного махига течет не холодная кровь, но кипучий огонь жизни. Ичивари верил, что и его кровь горяча. Он обязан верить. Иначе не сможет в должное время пройти обряд и стать ранвари: принести дары и при поддержке наставника совершить разделение души, позволяющее приблизиться к миру невоплощенных...

Двигаться по лесу – это удовольствие. Конечно, сказанное верно лишь для истинного махига, единого с зеленым миром и осознающего себя живым в живой природе. Ичивари подумал так – и поморщился. «Природа» – слово бледных. Прежде говорили иначе. Точнее, ничего не приходилось думать, говорить и пояснять. «Ма» и «хига» – два важнейших понятия. Слитые в единое слово, они означают «обретший тело дух леса, воплощенный». Теперь даже для главных слов есть строка в словаре, это тоже изобретение людей моря.

Дед привел старого бледного в поселок еще десять годовых кругов назад, когда многие полагали морских людей скотом. Привел, поселил в своем доме и представил всем:

– Вот человек леса, он имеет большую теплую двойную душу и, значит, обладает правом жить среди нас и даже обязан так поступить, чтобы не впустить в поселок забвение.

Отец тогда не сдержался и при всех спорил с дедом... Но нелепый сухонький человек остался. День за днем он шаркал следом за дедом, семенил слабыми ногами, задыхаясь и прикашливая. Из дома в дом. Из дома в дом. Здравовался, вежливо, с поклоном принимал воду с тертыми ягодами, настоящую на коре, – целебное питье, которым угощают в знак уважения. Садился в уголке, разворачивал листки и записывал весь разговор деда со старыми в доме. Это казалось нелепым: зачем записывать на бесценную бумагу то, что известно каждому?

Сам Ичивари ходил за дедом без всякого приглашения и дозволения. Не гонят – так почему бы не пойти и не послушать? Довольно скоро он обнаружил: дед Магур неизменно мудр. Ведь то, что рассказывают старики, действительно вот-вот скроется в тенях прошлого. Растворится безвозвратно. Никто не делает более для рыбной ловли крючков из кости. Не ставит силки на мелкую дичь, сплетая косицы веревок из болотных трав или собственных волос. Знания бледных оказались удобнее. И дед прав, надо записывать утрачиваемое, чтобы потом не пришлось стыдиться... Повзрослев, Ичивари заново перебрал воспоминания, прочел записи и понял: не только ради крючков из кости велись длинные стариковские разговоры. Дед дотошно выспрашивал о погоде, звериных тропах и водопоях, уговаривал припомнить, велики ли были стада оленей и сколько видов тех оленей знали старики, какую птицу били на озерах и в какое время года... Дед хотел сохранить и этот опыт. А еще, может статься, он опасался перемен. Слишком резких и необратимых.

Когда бледные вошли в лес, они разорвали башмаками дерн, создали шум, бесцеремонно вмешались в жизнь зеленого мира. Живой лес отшатнулся, затаился. А бледные перли вперед, все дальше от берега моря. Подкованные сталью копыта коней губили мох, ружья причиняли смерть зверям без счета и меры, а затем пришел и черед людей...

Большой кровью пришлось оплатить племенам леса, гор и степи изгнание чужаков. Но кони остались, хотя их копыта давно не подковывают сталью. И ружья остались. Резкий и едкий запах пороха не покинул лес. Он сделался подобен тончайшей пелене, готовой разделить недавно единое: зеленый мир – и его детей махигов, воспринявших чужое знание и оружие.

– Прежде мы делили духов леса на темных и светлых, это не вполне верно и слишком просто, но пусть так... – вздыхал дед, свежую оленя тогда, зимой. – Теперь все иначе. Есть духи леса и есть духи поселка, так я думаю. Если вторые вселятся в нас, мы утратим право зваться махигами. Мы сделаемся мертвыми для леса, как мертвы для него бледные, не имеющие живой правой души. Мы станем подобны им, а лес для нас окажется просто древесиной для печей и мясом для прокорма. Уже теперь мертвы наши верования, от них остались лишь обрывки некоторых обрядов, да и те не кажутся молодежи важными и близкими. Потому что принадлежат прошлому, иной жизни... Уходящей.

– Получается, отец прав, – обрадовался Ичивари. – И ты признаешь его правоту! Надо прогнать за море всех бледных. Всех до единого! Они лишены главной души, они ходячие мертвецы. Они хуже скота и страшнее темных духов...

– Твой отец разве точно так говорил? Или ты сгоряча припел к его словам еще что-то? Ты шумишь и спешишь, как весенний паводок, – спокойно отметил дед. – Посмотри на эту ель, она упала и высохла, годится лишь для костра. Нельзя ее вкопать в землю и снова сделать зеленой. Время, внук, куда беспощаднее мутной реки, обезумевшей после дождей. Оно уносит от берега сразу и безвозвратно и наши победы, и наши ошибки. Туда они смыты, в водопад прошлого, и нет возврата из вод его... Дело вождя – не вкапывать мертвую елку прежнего, которое уже не оживет, но выращивать из семян мудрости новое дерево жизни.

Мы должны принять знание и остаться детьми леса. Это трудно. У нас мало времени, но и торопиться нельзя... Увы, твой папа торопится и иногда ошибается... Хотя бы ты сиди и просто слушай лес. Иногда это важнее, чем слушать себя... и даже меня.

Дед лукаво покосился на недоумевающего внука. Он умел так вывернуть мысль, что все прежнее и вроде бы явное пряталось, пропадало. Приходилось заново искать тропу, годную для движения рассуждений.

Костерок вгрызался в комель елки, изредка раскусывая смолистые сучки и выбрасывая вверх, в стылое черное небо, россыпь искр. Они взлетали и путались в хитром плетении узора ночи, и без того богато украшенном звездами... Ичивари сидел и слушал сумрак. Ощущал себя такой же искоркой. Вся его жизнь для великого леса – один миг. Но попади искра на сухой мох... и пойдет гудеть неуголимой жаждой верховой пожар, в неумности которого скрывается самый свирепый из темных духов. Неукротимый, безумный, могучий... Странно ощущать в себе судьбу искры, двойственность которой столь опасна. Страшно быть и сыном леса, и врагом его.

Ичивари встряхнулся, освобождаясь от воспоминаний, и пошел быстрее. Сейчас лето, три дня кряду лил дождь, никакая искра не опасна лесу. Даже костер не угроза. Между тем, чтобы развести огонь, необходимо настругать щепы. Он привык к такому способу, обычному для бледных. Но его нож теперь у бешеной девчонки. Значит, не будет костра? Рыбу придется есть сырой? Но как ее разделать без ножа? Он – дважды и трижды ничтожный, он – погасшая искра, позор рода... Упустил в лесу бледную!

– Ей же хуже! – вслух утешил себя Ичивари. – К ночи так заплутает и набегается – сама меня станет звать! Тогда и послушаем, как она умеет извиняться и умолять.

Представить синеглазую умоляющей оказалось сложно. Не удавалось подобрать для ее голоса нужного тона, да и годных слов... Прочее не являлось перед внутренним взором, не мог Ичивари представить жалкое и просительное выражение ее лица. Если толком припомнить первые мгновения встречи... И тогда не страх был в глазах, скорее удивление, а в первый миг – даже, пожалуй, приязнь, сразу сменившаяся растерянностью. Если бы он внимательнее глядел, задумался бы. И позже она просила странно, словно бы не вполне искренне. Или он уже вовсе запутался в сомнениях? Дед прав: поселок меняет всех, кто живет в ограде стен. Мир вне леса обманывает людей и вынуждает по привычке видеть не то, что есть истина, но лишь наблюдать поверхность явления, довольствуясь самым первым впечатлением. Поселок приучает к беспечности.

Он, сын вождя, не осмотрелся и не пытался вести себя, как подобает в лесу. Хотя всякое знакомство сродни выслеживанию зверя. Обнаружить человека, рассмотреть, оценить, обдумать все и лишь затем решать, выходить навстречу или обходить стороной... Дед много раз убеждал: очень важно сначала думать, а уж потом – все остальное. И тяжело вздыхал, хмурясь и пряча улыбку. Он ведь однажды признался, что и сам по молодости не любил много думать. Полагал это занятие уделом тех, кто не уверен в себе... Ичивари пожал плечами. По крайней мере, он пробует думать теперь.

Как же все началось-то? Девушка была мила, он ощущал себя гордым – ведь ехал по важному делу на пегом Шагари! Он спрыгнул с коня и пошел по полю, точно помня, как радовались в поселке любому, даже самому малому и случайному вниманию со стороны сына вождя. Так радовались, что лишний раз смотреть ни на кого и не хотелось. А ну как поднимут крик и возьмутся нагло требовать бусы? Отец узнает, и такое начнется... Отец ведь сразу скажет то, что повторяет в отношении бледных всегда: «У них нет большой души». В этом вопросе воин огня Утери заодно с отцом, он даже жестче наставлял будет: «Бледные мертвы всегда, они лишь тела, ходящие и говорящие подобно людям». Ранвари поучал бы,

хмуру и недовольно глядя на наглых девиц: «Разозлили всерьез, оскорбили – убей. Расстроили – накажи, ты в своем праве, сын леса и наследник вождя».

Ичивари сокрушенно вздохнул. Он уехал из дома, надышался лесными ароматами свободы и дикости... «и с ума сошел от полноты самостоятельности» – так сказал бы дед Магур, и в этом нет сомнений, даже почти удается расслышать его голос, огорченный и совсем тихий. Если дед полагает сделанное ошибкой, он никогда не поднимает крика. И на сей раз вразумлял бы очень, очень неспешным шуршащим шепотом. Лишь бы вовсе не отвернулся и не замолчал, отказываясь общаться! Магур-то учил внука иначе оценивать людей. Говорил: «Только сердце может ответить, есть ли полная душа у чужого. Сердце, а не глаза. Цвет кожи не наделяет душой и не отнимает ее».

– Так что ж мне, спасти эту полукровку? – почти жалобно уточнил Ичивари вслух, хотя дед никак не мог услышать. – Пусть сама выпутывается! Она меня разозлила... ну и даже оскорбила, вот.

Лес промолчал, даже ветерок унялся и не играл с хвоей, не перебирал травинки. И дед промолчал, отвернувшись. Не устраивали деда оправдания. Не было в них взрослого разума, не было откровенности, достойной мужчины, и даже надлежащей безжалостности к своим слабостям. Не было и полного мужества, чтобы признать свои дела и сокровенные мысли.

– Ладно, буду спасать... Но сперва окунусь, – предупредил Ичивари незримого деда.

Жаловаться на то, что кожа зудит невыносимо, он конечно же не стал. Истинный махиг стерпит любую боль. Это неизменно... Хоть в чем-то отец и дед едины.

Озеро блеснуло впереди жидким серебром бликов. Зуд сразу сделался куда сильнее, терпеть его у самой воды вдвойне тягостно. Ичивари запретил себе ускорять шаг, стал без спешки расплетать тонкие косички волос, удерживающие два пера и несколько бусин-амулетов. Заколебался и не решился убрать из волос пестрый ремешок, сложно и узорно покрашенный. Все прочее сложил в сумку при седле, а ремешок плотно обмотал тонкой кожей, спасая от сильного замокания. Исполнив все это, Ичивари снял пояс с пустыми ножнами. Серебро воды так и лезло в глаза, так и манило, ехидно подмигивая. Ручеек бежал у самых ног, спешил к берегу и пищал назойливым комариным голоском: «Поторопись, никто не увидит! Уступи слабости, сейчас можно...» Ичивари решительно отстранил ладонью звук и то незримое, что прельщало, прячась в тенях и усиливая зуд кожи. Это темный дух лихорадки, нетерпимец, породитель жажды. Ему нельзя потакать и в малом. Кажется, утром именно этот дух толкнул полукровку под локоть, вынудил нехотючи распрямиться от грядок и тряхнуть волосами, обращая на себя внимание... Найдя виновника своих неприглядных поступков и смутных мыслей, Ичивари успокоился. Борьба с духом жажды трудна, сын вождя уступил утром, но не сделал ничего непоправимого. Он еще не погасшая искра. А полукровка, получается, вовсе уж ни при чем. Сбежать ей помог светлый дух утolenия и вразумления, когда он, Ичивари, смог преодолеть влияние зла.

Найдя подходящего врага и сочтя себя победителем, Ичивари улыбнулся и без спешки сложил вещи на плоском большом камне. Расседлал коня, освободив широкий ремень и сняв со спины Шагари шкуру ягуара, и пошел наконец-то в воду. Следовало нырнуть, отплыть подальше от берега и попробовать выгнать в мелкий затон хоть одну достойную внимания рыбину, крупную и вкусную. Многие нынешние махиги не могут удержать скользкую чешую в пальцах. Забыли и это умение, прежде ведомое каждому. Но он-то слушал стариков, позже много раз перечитывал записи, сделанные бледным пожилым писарем, и пробовал повторить, пока не усвоил уроки...

Вода приняла, как родного, обняла прохладой, погладила кожу ног вьющимися нитями текущей донной травы... Укрыла с головой. Из-под воды высокое солнце казалось сияющим, окруженным острыми длинными лучами, золотисто-лиственным... Его круг пульсировал в волнах, то растягиваясь, то сжимаясь, то удаляясь, то приближаясь. Вода играла с огненным

светом, два самых сильных – по крайней мере, по мнению Ичивари, – духа жили в единении и гармонии, это было красиво и неповторимо...

Ичивари появился из зеленоватой подводной тени без плеска, нащупал дно, нашарил ногами опору, чуть шевеля руками и оглядывая берег. Теперь он уже твердо стоял, отжимая кожаный чехол с ремешком. Серебро бликов текло у самых плеч, волночки бережно гладили спину и играли распущенными волосами, довольно длинными, прикрывающими лопатки. Огромные секвойи держали на своих кронах синий свод дня, сходясь ветвями в зените. Лес дышал покоем...

А совсем рядом, в двух метрах, крутилось и клубилось такое, что и вздохнуть-то никак нельзя. Ичивари не осмелился даже повернуть голову, кожей опознав угрозу. Клубок линяющих змей! Большой, пребывающий в постоянном движении сгусток ядовитой злости и болезненного раздражения. Выныривая, сын вождя не заметил змей – помешала плывущая по воде трава. Стоп. Откуда на воде трава? Ичивари покосился на дорожку из свежесорванных сочных пучков зелени, растрепанных течением ручейка, толкущихся у берега лениво и неорганизованно. Махиг, на миг забыв о змеях, все же повернул голову, не веря себе.

На плоском камне, столкнув амулеты и шкуру ягуара, сидела полукровка. В синих глазах плясали все те же бешеные гроззовые молнии. Губы приоткрыты в подобии оскала. Тонкая рука дрожит, вытянутая вперед. Ладонь чуть шевелится, словно бережно и осторожно подталкивает нечто...

Ичивари покосился на ком змей, сместившийся в воде ближе, и ощутил холод меж лопаток. Дети леса слышат свой мир и осознают себя частью его. Лес не вредит им и тоже признает родными, но внятно слышит он далеко не всех. Только мавиви могут просить и даже приказывать. Увы, последнюю мавиви бледные убили в том самом бою, в котором погиб и вождь Ичива. Самого вождя и его мавиви точно убили, это всякому известно!

Тогда кого он, внук великого воина, видит? И как понимать происходящее? Бледные, если верить деду Магуру, могут иметь душу. Но дар мавиви им никто и никогда не открывал и не передавал!

Полукровка всхлипнула, опустила дрожащую руку и зло вытерла слезы. Зашипела, скалясь сразу и на замершего в воде махига, и на змей. Клубок распался. Темные тела в новой коже, яркой и тонкой, блеснули на солнце и сгинули...

– «Ну, погоди!» – ловко повторяя тон, передразнила полукровка, шмыгая носом и чуть успокаиваясь. – Стой там и не двигайся, самозванный хозяин леса. Я еще не понимаю, почему не могу тебя убить. Хочу, но не могу! Очень хочу! Имею право! Ты пень горелый, и место тебе – в том топляке! И чтоб ты сдох... И...

Доводы угасли в невнятной бормотании, шмыганье носом и всхлипах. Шагари, стоявший по колено в воде, неторопливо выбрался на берег, прошел к камню и задышал в плечо плачущей полукровке, пожевал губами край ее убогой одежды. Ичивари чуть усмехнулся. Девчонка – она и есть девчонка. Ревет по всякому поводу и цепляется за чужое сочувствие. Вон обняла конскую морду и разводит сырость пуще прежнего. До чего нелепо! Иметь дар единой души – и не использовать его. Заниматься прополкой, а потом и вовсе почти позволить себя убить.

Бояться этой бешеной нет смысла. Слушаться ее – тоже. Так почему он еще стоит в воде? Потому что пробует следовать советам деда и думать прежде всего иного... А в голове такое творится – хоть до ночи стой, мысли не переведутся и не улягутся в узор разумного рассуждения! Боящаяся боли, жалкая и дрожащая полукровка на самом деле – мавиви. Этого никак не может быть, но он все видел сам! А что он видел? Дед бы так и спросил. Ичивари нахмурился, собирая доводы для ответа незримому деду.

Она умеет ходить по лесу, выследила махига и подстерегла. Неприятно признавать, но сомнений нет.

Она указывала на клубок змей, и тот двигался, куда было указано. Это либо совпадение, либо нечто большее, сомнения есть.

Она смогла привлечь для побега скунса – это почти достоверно.

И она рыдает и дрожит, как распоследняя бледная ничтожная слабачка... Странная мавиви, но и сомневаться в ней едва ли возможно: ведь есть еще и Слеза.

Между тем, по древнему закону, утратившему смысл со смертью последней из мавиви, всякая обида, причиненная существу с единой душой, может караться смертью. По усмотрению мавиви. Будь обидчик хоть сын вождя, хоть сам вождь. Он виновен. Впрочем, поведение бешеной полукровки с первого же мгновения было непонятным и двусмысленным. Она молчала, не отвечала на вопросы и даже не назвалась. А позже твердила невесть что по поводу покорности и извинений... И снова не назвалась.

Так что же следует из всех его мыслей, разрозненных и обрывочных, как плывущая по воде трава? Дед бы точно уже разобрался в происходящем. А его бестолковый внук все стоит и тупо глядит на нелепую плачущую мавиви. Ей действительно плохо. Ее знобит. Может, и до ее единой души добрался коварный нетерпимец, темный червь сомнений, породитель болезни?

Ичивари осторожно шагнул вперед, помогая себе руками, подгребая воду. Вон у самого камня лежит его стальной нож, брошенный девчонкой. Не потеряла и не выкинула, уже хорошо, приятно даже. Цела лучшая вещь, сделанная собственными руками, вызывавшая законную гордость. И еще – есть в обретении ножа польза: можно прямо теперь настрогать щепок и развести костер, отогреть эту нелепую незнакомку, укутать в мех ягуара.

– Стой где стоишь, – обернулась полукровка, щурясь опухшими веками и снова шмыгая носом. – Сказано же! Стой, а то...

– А то – что? – уточнил Ичивари, продолжая двигаться к берегу. – Ты уже призналась, что не убьешь меня. Сейчас я разведу костер, и будет тепло. Темный нетерпимец уйдет, и станет проще разбираться в происходящем.

– Бред, – дернула плечом полукровка. – Горячечный бред... Какой нетерпимец? На себя глянь! Иных нетерпимцев тут и не водится. Налетел, хозяин леса... Стой там! Я серьезно. У меня до сих пор руки болят. Я тебя боюсь. Подойдешь ближе – убью. Точно убью. Потому что и хочу, и могу, и не сдержусь.

– В воде холодно, – хитро прищурился Ичивари. – И никого ты не убьешь, уже ясно. Но я действительно виноват и признаю это. Как всякий махиг я обязан служить тем, кто обладает единой душой, и оберегать таких. Ты очень странная мавиви, но я в тебе не сомневаюсь.

Он сделал еще несколько осторожных шагов, выбрался к берегу, с самым торжественным видом встал на колени и поклонился полукровке. При этом голова скрылась под водой – ритуал требовал коснуться лбом земли... Ичивари выпрямился и встряхнулся, сгоняя с волос воду и сердито хлопая себя по левому уху, утратившему способность слышать. Нелепая мавиви то ли всхлипывала, то ли смеялась. Вряд ли она и сама толком понимала, что именно делает. Пегий конь беспокойно переступал ногами и фыркал ей в шею, стараясь успокоить... Девчонка решительно выпрямилась, погладила теплые мягкие губы Шагари.

– Пень горелый! – без прежней злости, но с некоторым вызовом буркнула она. – Не нужны мне твои поклоны. Все равно я тебя боюсь.

– Ты набрось на плечи шкуру ягуара, так будет куда теплее бояться, – посоветовал Ичивари.

– Она же мертвая! – Полукровка всплеснула руками от возмущения. – Совсем! Ты что, издеваешься? Ты посадил меня на коня, как раз на эту гадкую шкуру, и я едва сознание не потеряла!

Ичивари отжал волосы и задумался. А ведь дед что-то такое говорил... И старики тоже. Вроде мавиви в какие-то сезоны не питаются мясом и совсем не носят мех. Не гре-

ются у огня, разведенного из зеленых веток. Поэтому они никогда и не жили вместе с племенем. Увы, именно такой порядок вещей сделал их беззащитными перед коварством бледных. Собаки помогли выследить одиночек в лесу, пожары выгнали их в заранее подготовленные засады. И ружья сделали остальное. Так сказал дед Магур. Но как вести себя с мавиви, он не пояснил. Зачем? Обладающих единой с лесом душой больше нет в мире...

– Я разведу костер из самых сухих веток, – пообещал Ичивари. – Во व्यюке, что я вез за седлом, – вон он, – есть одеяло из валяной шерсти. Оно тебе годится? Это хорошая шерсть, ее счесали у живых животных, промыли и обработали руками, не используя железа. Моя мама старалась. Возьми и грейся. А мне дай нож, чтобы я мог срезать дерн для устройства кострища и настрогать щепок.

– Только помни: медведь рядом, – мрачно предупредила мавиви. – Если что, останавливать его будет поздно. Это его владения, и он даже ко мне прислушивается не во всем. С медведями сложно. Они упрямые.

Мавиви многозначительно помолчала, давая время обдумать сказанное. Нагнулась, нашарила нож и бросила в сторону, подальше и к самому берегу. Отвернувшись, порылась в мешке и добыла одеяло. Понюхала, потерлась щекой о шерсть и успокоенно кивнула. Замоталась так, что глаз не рассмотреть, один нос едва виден... Ичивари выбрался из воды, поднял нож и ушел в лес искать сухие ветки. Извинившись за утреннее поведение и обеспечив мавиви одеялом, он чувствовал себя превосходно. То и дело представлял, как расскажет все деду и тогда в глазах старого махига загорится огонь радости.

Великий день! У людей леса снова есть мавиви – душа, имеющая воплощение и не утратившая силу единства с лесом. Набрав охапку веток и сучьев, Ичивари вздрогнул и заспешил к берегу. Бегом, спотыкаясь о корни, едва не падая и бормоча ругательства. Вдруг нелепая полукровка опять сгинула? Поди разыщи ее повторно. И, яснее ясного, звать бесполезно, она упрямее медведя... Юноша заскользил к берегу по мокрой траве, роняя ветки из охапки и озираясь. Не сгинула! Сразу стало легче и веселее на душе: сидит на прежнем месте, набросив одеяло на плечи, и перебирает пряди конской гривы. Священный пегий конь Шагари оказался надежнее любой веревки. Удержал мавиви на месте, убедил не уходить.

– Ты ломишься через лес, как распоследний бледный чужак, – с насмешкой сообщила мавиви. – Ты распугал белок и всполошил сорок во всей округе.

– Я боялся, что ты опять пропадешь, – признал Ичивари, быстро срезая дерн и укладывая ветки, кору, мох. – Меня зовут Ичивари, я сын вождя махигов. Старший сын.

– Это и так понятно: два пера, и крупное – совсем красное, как у всякого пня горелого, – снова невесть с чего обозлилась мавиви. Покосилась и дернула плечом. – Но ты еще не сотворил с собой самого худшего, раз о тебе без скорби плачет мать леса. Поэтому я не убила тебя там, в сарае. – Девчонка зло рассмеялась. – Ты был такой нелепый с ножом! Все медлил, я тебя заболтала – и они пришли. Те, кого я позвала. Самовлюбленный горелый пень! Не видел, как над тобой качается змея. Не слышал, как вторая примеряется к жилке на ноге. Слепой, совсем слепой и негодный для леса.

Ичивари смущенно развел руками. Дотянулся до своих вещей, добыл огниво и быстро раздул из искорки молодой жадный огонек. Выпустил его пастись на мох и вкусную хрустящую кору. Попробовал вспомнить сарай. Не было там змей! Не мог он не заметить... Или мог? В голове невесть что творилось. Полукровка всхлипывала, кричала и умоляла. Шептала... оказывается – заглушала шелест змеиной чешуи.

Огонек окреп и захрустел тонкими щепками, а затем и веточками. Пришло время дать ему более основательный корм. Ичивари снабдил достойной пищей самого могучего, по мнению махигов, духа зеленого мира (если не считать покровителя вод). Поклонившись огню, сын вождя позволил себе снова обернуться к странной мавиви. Устроил для нее возле огня удобную подстилку из сухой травы. Бросил व्यюк и пригласил пересесть ближе.

– Я так и не удостоюсь чести услышать твое имя? Могу еще раз извиниться и попросить о наказании. Но ты сама тоже виновата! Ты не сказала ничего сразу, ты вела себя непонятно. Я живу по законам, которые установил вождь. И даже несколько отступаю от них, потому что дед полагает неверным считать бледных бездушными.

– Вождь? – прошипела девушка, снова с презрением. – Падаль. Гнилой мертвый человек. Совсем мертвый!

– Он мой отец, не надо так...

– Что он понимает в душах и бездушии? – возмутилась полукровка. – Как можно разделять людей просто из мести и старой пустой злобы? Если я буду долго сидеть на солнце, моя кожа потемнеет и я обрету правую душу! – Она сухо рассмеялась. – Я не следую глупым законам. И не желаю их знать. Пусть брат учит, он бледный и мертвый. Все они такие. Я ушла от них, когда мне было четыре года. Сама ушла. – Она резко вскинулась, синие глаза снова стали темными, опасными. – В лесу я решаю, что есть закон, а что беззаконие. Разве твой отец ходит на охоту? Разве он покидает поселок в этот год? О-о-о, он прекрасно знает, как зол на него лес. Но не пытается образумиться. Наоборот, мстит. Пустил в ближние леса этого пня горелого, этого... урода.

– Не понимаю, о ком ты. Но надеюсь, мы еще разберемся. Грейся.

Ичивари снова накормил огонь и виновато вздохнул. Если припомнить... А ведь так и есть, отец с зимы не бывает в лесу. Всякий раз находится причина, чтобы отменить охоту или даже важную поездку на границу. К людям степи, например, по весне был отправлен вместо вождя он, Ичивари. И он ни о чем не задумался, гордый отцовским доверием и своей высокой миссией. Он ехал на Шагари и жаждал увидеть с опушки большую равнину, на которой просторно всякому ветру.

– Значит, ты обижена на махигов, – огорчился Ичивари. – Но это неправильно, мавиви почитаемы народом леса. И слова меняют больше, чем молчание. Если бы мы знали о тебе, мы бы...

– Утром я стояла и смотрела, как ты идешь по полю, – тихо сказала полукровка. – Я могла убежать. Могла назваться. Могла молча убить сына подлого вождя. Но я сомневалась. Бабушка никогда так глупо не сомневалась. Она была великой... А я теперь одна и мне трудно. Лес слишком рано позвал мою бабушку.

Ичивари покосился на воду. Костер уже греет, угли постепенно копят. Пора бы заняться рыбной ловлей. А нелепая мавиви снова, кажется, вот-вот начнет плакать.

– Рыбу ты ешь? Тебе можно?

– Можно, – буркнула полукровка. – Сейчас. В этот сезон.

Сын вождя не стал ничего уточнять дополнительно. Он кивнул и пошел к воде. Хотелось окунуться с головой и отрешиться от всех мыслей, зудящих просто-таки нестерпимо. Отец стал чужим лесу! Мавиви сознательно скрывается от народа, почитающего единых душами и оплакивающего их гибель. Слеза Плачущей была знаком не ему, а этой девочке... И не он надумал убивать, это его заманили в сарай, куда долго никто бы не заглянул. Все крики и мольбы были обманом. И вовсе эта мавиви не полукровка, рожденная от бледной сговорчивой матери: уж точно не зря она упомянула бабушку. Синеглазая мавиви – прямая наследница чудом выжившей единой души...

Слишком много нового и сложного. Ичивари вынырнул, отфыркиваясь. Быстро выбрался на берег и бросил на траву две рыбины. Почистил, выпотрошил, промыл. И пошел по мелкой воде к костру. Вряд ли мавиви понравилось бы вблизи наблюдать за чистой рыбой. Так он решил и потому все сделал сам и в стороне.

– Ичивари, – задумчиво выговорила мавиви не оборачиваясь. – Бабушка мне говорила о воине по имени Ичива. Тот должен был хранить ее сестру по дару. Кажется, это очень

грустная история. Бабушка никогда не рассказывала ее до конца. Там глина и травы. Для рыбы.

Ичивари кивнул: он и сам уже заметил приготовленную глину для запекания рыбы. Быстро обмазал и поежился, наблюдая, как мавиви играет с арихом. Гладит синие огоньки на углях, вроде бы ласково и уж точно без спешки перебирает тонкими пальчиками сами угли. Разгребает их, готовя место для рыбы. И снова укладывает на место. Если прежде он хоть немного, самую малость, сомневался в природе души этой светлокожей девочки, то теперь утратил повод к сомнениям. Огонь не жег ее. Потому что дух его – арих – сам был частью этого удивительного существа.

Чем единая душа отличается от обычной? Однажды он спросил у деда, и тот повел внука в лес. Показал два сросшихся дерева с разными корнями и разными кронами, обнявшиеся стволами и делящиеся соком... Сказал: «Видишь, у них одна душа на двоих. Так бывает даже с деревьями. И таковы мы, люди леса. В нас много намешано. Мы живем в зеленом мире, но мы и берем у него, выделяясь из леса в поселки. Мы вместе с ним, и все же мы отделены...» Провел пальцем по стыку стволов: «Так мы ощущаем мир, внук. Через движение соков. Подспудно и неявно. Мы привязаны к своим корням и достаточно неповоротливы. Мы мало видим и слабо слышим. Мавиви иные. Они – и ветер в кронах, и дождь на листьях, и солнце, играющее с облаком. Людей ты видишь, и глаза тебя не обманывают. Мавиви нельзя постичь зрением. Мы – деревья в лесу жизни. Они – сам этот лес и его закон жизни». Это было, пожалуй, самое невнятное и сложное из дедовых пояснений. Ичивари долго думал и потом много раз ходил к тем деревьям. Он научился, глядя на пару сплетенных стволов, понимать двойственность «ма» – души и «хига» – ее телесного воплощения. Но как постичь весь лес? И как может закон жизни помещаться в обычном воплощенном человеке, телесном?

Теперь Ичивари следил за движениями рук мавиви и снова гадал: насколько она человек и как в ней уживаются два столь несовместимых начала? Ребенок в возрасте четырнадцати-пятнадцати годовых кругов – и безвременное, великое дыхание самого мира...

– Смешной ты, – отметила мавиви. – Пялишься на меня так, словно это трудно – играть угольками. А сам-то собирался заняться куда более страшным. У тебя отмеченные красным перья в волосах. Отец обрек тебя огню...

– Посвятил.

– Ты споришь со мной? – поразилась мавиви. – Или ты полагаешь, я не умею разговаривать?

– Что ты делала на батаровом поле?

– Ругалась с жуками и гусеницами, – дернула плечом мавиви. – Крупный батар вкуснее дикого. Они всей толпой вломились на поле. Меня позвали усювестить наглецов и спасти урожай. Мавиви всегда делали подобное. Разве нет?

– Хорошенькое дело! Значит, бледным ты помогаешь и они о тебе знают, – возмутился Ичивари. – А нам, людям леса...

– И много у вас пожрали посевов? – воинственно вскинулась мавиви. – Все меня зовут! Все. Только не знают, что меня. И потом твердят разные нелепости о везении и действительности амулетов. Суеверия. Кругом суеверия. И ты...

– Пень горелый, – подсказал Ичивари, широко улыбаясь и удивляясь себе самому. – Почему я не могу на тебя злиться?

– Потому что боишься медведя, – упрямо прищурилась мавиви. Покосилась на соседа и дернула плечом, хмурясь из последних сил: ей тоже было весело. – Ну ладно. Не боишься, хотя стоило бы. И я тоже на тебя уже не злюсь. Ты не совсем пень. Ты еще вполне даже живое дерево. Потому я, если честно, и не заметила тебя, пока ты не слез с коня. Обычно я ухожу до того, как меня увидят. Ты меня подкараулил. И я совсем растерялась... Доволен?

– Да, – возгордился собой Ичивари. Взъерошил влажные волосы. – Слушай, безымянная мавиви, а что мне дальше-то делать? Ты обозвала меня пнем и наговорила явных гадостей по поводу обряда разделения души. Но я ехал к наставнику, и именно по поводу обряда. Ехал на Шагари, пегом коне, приносящем удачу в пути. Так куда дальше ведет мой путь? Ведь мне уже повезло. Я встретил тебя.

– Ты как-то странно думаешь. Не так, как мне понятно, – пожаловалась мавиви. – Сплошные обвинения и суеверия. Дикость какая-то... Вы же живете в поселках, вроде письменность усвоили. Но ты обвешан амулетами. И еще это счастье, якобы притягиваемое хитрыми наговорами, пегими лошадьми и даже пестрыми узорами вышивки на рубахе. Горячий бред! И хуже него только ваша слепая злоба... готовность уродовать людей. Бледных. Чего ты хочешь от меня? Совета? Я не даю советов. Ответа на вопрос? Но ты не задал нужного, главного для себя вопроса. К тому же я редко отвечаю. Просто не для всех есть ответы. Я не понимаю даже, почему я еще здесь. Мне не нужна рыба, чтобы быть сытой. Мне не требуется одеяло, чтобы греться. Но я сижу, и мне здесь... неплохо.

Ичивари задумчиво перебрал в горсти амулеты. Покосился на девушку. Сидит, вздыхает... Главное суеверие всего леса, которое само, оказывается, не верит в суеверия.

– Все амулеты – ненастоящие?

Мавиви задумчиво глянула на деревянные бусины и камешки в горсти. Наклонилась ближе и указала на один, подаренный мамой год назад. Затем с некоторым сомнением выбрала второй – дедов.

– Эти тебе дали с душой. Они теплые. Прочее – мусор. Кроме вон той кожаной крашеной нитки – ее ты, даже купаясь, не смог снять. Не расстался с ней и на миг, хотя именно в ней – зло. Отдай мне. Уберу вред для тебя и леса.

– Но это знак единения с огнем! – поразился Ичивари. – Без него я не смогу пойти к наставнику и принести дары. А через зиму я без него не буду допущен к разделению души.

– Опять споришь со мной?

– Хочу объяснений! Люди моего рода всегда защищали лес. Бледные уже дважды возвращались. Приплывали на больших кораблях. Их смогли прогнать лишь воины огня. Это моя судьба, мой долг. Как же я...

– Ты спросил. Я ответила. Или отдай нитку, или я пошла. – Мавиви нарезала мысли хлесткими короткими фразами.

Ичивари смотрел на нее, по-прежнему сидящую рядом, склонившуюся к амулетам. Темные волосы почти прячут лицо. Но бешеные молнии в глазах и теперь видны. Пляшут, бьются. Оторваться невозможно – гляди и гляди, забыв дышать. Вот поэтому он и спешил. И пошел на это поле, едва помня себя... Кажется, и теперь не поумнел. Нитку нельзя отдавать. Что он скажет отцу? И как объяснит наставнику? И как он вообще будет дальше жить? Да его выгонят из племени... А глаза у нее, когда злятся, – фиолетовые. Почти черные.

– Если так надо... – Ичивари начал выпутывать из волос знак огня, но пальцы не пожелали слушаться. Пришлось, преодолевая сопротивление своих же рук, быстро и неловко срезать ножом всю тонкую косицу, вместе с ремешком, в нее заплетенным. – На. Но ты могла бы назвать имя, раз отбираешь главный знак огня. Не так уж и мало ты потребовала, знаешь ли.

– Это не знак огня, – тихо сказала мавиви, глядя на шнурок и примеряясь, как бы его поудобнее взять. Морщилась при этом так, словно он живой и ядовитый. – Такой знак – подтверждение готовности отдать родную кровь темному безумию, порой владеющему пламенем. Ты меня удивил. Взял да и отказался от знака, словно это так просто... Определенно, ты не пень горелый. Я удачно ошиблась. И удачно одумалась. Вовремя, спасибо Плачущей.

Девушка скривилась, словно от боли или, что вернее, отвращения. Вцепилась ногтями в кончик шнурка и выдернула его, совсем сухой даже после купания, из неплотно сжатой ладони Ичивари. По лесу пробежал ветер, небо нахмурилось, делая воду озера серой и

угрюмой. Огонь костра загудел и вскинулся, заплелся вьюном смерча. Потянулся к шнурку. Мавиви возмущенно отстранила пламя тыльной стороной свободной руки, словно пощечину дала. Встала, прошла к воде и опустила в озеро руку с зажатым шнурком. Вода сердито зашипела, тонкая змейка пара скользнула к вершинам большого леса – и снова выглянуло из-за туч солнышко. Девушка еще раз усердно прополоскала шнурок, поскребла ногтем, довольно хмыкнула. Нашарила в воде камень, обвязала его и, сильно размахнувшись, отправила мокрый узор огня на мокрой кожаной основе в самую середину озера...

– Так-то лучше, – сказала она, снова садясь к огню. Голос звучал устало, едва слышно. – Он был уже сильный... Еще немного, и он бы до угольков тебя спалил. Сперва внутри. А потом уж...

Мавиви тяжело вздохнула и махнула рукой, не желая продолжать трудный разговор. Костер опять мирно потрескивал ветками, как сытый пес – любимой старой мозговой костью, уже обглоданной, не дающей пищи и не утоляющей голод, лишь позволяющей провести вечер приятно и за делом... Ичивари вздохнул, отвернулся от озера. Когда нитка погрузилась в воду, внутри что-то оборвалось. Он почувствовал боль. Сперва стало страшно и тягостно, но затем всего лишь пусто и просторно. Он снова вздохнул и отметил, что в легких будто бы помещается больше воздуха. Солнышко теперь иное, оно ласкает кожу не безразлично, а родственно. А ветер... Ветер стал куда слышнее. Но главная перемена – вода. Он словно от глухоты излечился! Мелкие волны гладят траву и песок. Перебирают листья. Процеживают пузырьки воздуха – крошечные, нарядными бусинами нездешнего праздника летящие к свету. И все это принимает и впитывает он – Ичивари, сын леса. Не просто слышит, как всякий бледный, но ощущает кожей, легкими, вообще невесть чем! Словно его из кокона вынули. Из тесного, сухого и душного кокона...

– Не знаю, какой подлец из породы мертвых деревьев запустил эту ложь, – задумчиво сказала мавиви. – О двух отдельных душах, хотя легенда говорила лишь о корнях мирового древа, вросших и в вышнее неявленное, и в нижнее воплощенное. Сперва я думала, только бледные отравлены ложью. Мне брат рассказывал, что можно убить душу по воле духов, и иные, на его ферме, верили. Но ведь и ты твердишь нелепицу о разделении и дарах. И носишь с собой знак безумия. Кажется, это серьезно. Если бы бабушка была с нами, я спросила бы совета. А теперь вот самой надо решать.

Мавиви поникла и виновато дернула худеньким плечиком. Дрожащими от слабости пальцами выбрала самый яркий уголек и сжала в сложенных ладонях. Ссыпала золу, виновато улыбнулась: догадалась, как странно ее действия выглядят со стороны... Словно она хвастается возможностями. Ичивари ничего подобного не подумал. Наоборот, ему вдруг показалось, что мавиви трагически беззащитна. Совсем одна, одеялом укутать и рыбой угостить и то некому. «Пусть она сколько угодно отрицает разделение душ, – подумал Ичивари, – но сама-то страдает от него, как никто иной». Мир леса дышит вместе с ней и глядит на людей ее глазами. Но не дает советов... И не помогает принимать решения. Не избавляет от одиночества и буквально рвет надвое, искушая могуществом нечеловеческого и унижая бессилием... Ей ведь не с кем и словом перемолвиться! Вот и сидит у костра, разведенного им – «пнем горелым», обидчиком. Человеком, пока что ничем по-настоящему не заслужившим уважения и доверия.

– Пошли искать деда, – серьезно предложил Ичивари, плотнее укутав плечи мавиви одеялом. – Вот увидишь: мой дед такой же мудрый, как твоя бабушка. Он давно слушает лес. Вместе мы уж точно разберемся.

– Ты ведь спешил, – с долей насмешки напомнила мавиви, пряча руки под одеяло.

– Теперь мне вовсе некуда торопиться. Идем. Моего деда зовут Магур. Он из народа нижних гор, как и моя мама. Его сын, мой дядя, погиб в одном бою с вождем Ичивой. Жизнь многих воинов гор иссякла в один день с жизнью Ичивы и той мавиви, которую он оберегал.

Род детей кедров стал слаб и мал. Магур позволил ему влиться в число лесных племен, отказавшись наносить на карту еще одну границу.

– Ты хорошо о нем говоришь, – задумалась мавиви. – Ладно же... Если честно, мне трудно одной в лесу. Наверное, я плохая мавиви. Мне не хватает разговоров. Бабушка и дедушка ушли. Я совсем одна... А где живет твой дед? В поселке? Я не пойду в поселок.

– Нет. В начале лета он, пожалуй, обосновался в долине Поникших Ив. Я не видел его с зимы. Странно: а почему я к нему не ходил?

– Потому что слепое безумие уже высушивало твою кровь, – строго сказала мавиви. – Идем. Я уверена, что мне понравится твой дед. Я даже, может статься, назову тебе свое имя, чтобы ты мог нас толком познакомить. У меня много вопросов. Хорошо, он хотя бы выслушает... Иногда очень важно вслух задать вопрос. Для этого надо его поймать и выгнать из зарослей на яркое солнце, так говорила моя бабушка. И еще она добавляла, что ответ сам придет. Он как тень... Когда много света и понимания, проступает и сразу виден.

– Тогда вперед!

Ичивари от радости хлопнул себя по колену. И заторопился подать обед. Сам, шипя и цокая языком, выгреб угли неудобной короткой палкой. Оббил глину и разделил рыбину. Пока мавиви ела, почистил коня и пристроил на его спине вместо седла одеяло, которое сбросила согревшаяся мавиви. Затем, давась от спешки, Ичивари проглотил свою часть пищи, запил водой. Быстро затушил угли и уложил на место снятый дерн. Почему-то не было даже самой маленькой тени страха в душе, не точило червячком-короедом сомнение: он ведь нарушает свой долг и не спешит к наставнику... даже не отправляет весть отцу! Между тем именно теперь, пока лето еще не достигло своей вершины, он обязан прибыть к наставнику Арихаду и жить у него. Долго – пока не подберет единственно годный вид оружия и не изготовит его сам, воздавая почести огню и соединяя с ним кровь. Потому что еще до рождения отец посвятил его, старшего сына, великому духу пламени. И сказал слова, известные каждому махигу: «Он отдаст правую свою душу, чтобы обрести силу воина огня». Великие слова, дарующие надежду на победу над бледными вопреки изощренности их оружия и коварства...

– Как зовут этого коня? – уточнила мавиви, прерывая раздумья спутника.

– Шагари. Ему шесть лет. Я сам растил его, – гордо ответил Ичивари. – Он хоть и посвящен от рождения Плачущей, но работать любит. Пахать обучен. И груз возит, и водяное колесо крутил, когда заболел старый каурый конь, его родич. Правда, отец рассердился, но ему сказали не сразу. Мы уже накачали воды для полива...

– Он отругал коня? – удивилась мавиви.

– Нет, зачем же так... – Ичивари смутился и добавил совсем тихо: – Зря я начал этот разговор. Отец меня наказал. За самоуправство и дерзость посадил на три дня на главной площади поселка, у столба боли. Без пищи и воды. Строгое наказание. Все сказали: «Смотрите, вождь Даргуш не дает поблажек и сыну, он справедлив».

Сын вождя помолчал и хлопнул Шагари по шее: все было готово к походу. Зачем говорить мавиви, что у столба он позорно потерял сознание, а когда очнулся дома, узнал: старого каурого коня отец приказал забить на мясо. Тем более не стоит рассказывать, что он плакал ночью – ведь это недостойно мужчины – и что утром сбежал к деду... и до сих пор ощущает вину за свой поступок. Потому что не успела состариться луна, видевшая его слезы, как дед ушел из поселка в лес. Насовсем.

Мавиви не полезла на коня. Прихватила темную гриву и зашагала пешком, щурясь на солнышко, выстилающее ей под ноги узорные блики и тени.словно весь лес – огромная и драгоценная ягуаровая шкура, без сожаления брошенная на тропинку перед мавиви. Трава лоснилась золотом, сочные пятна теней казались пушистыми и непроглядными... Весь мир рядом со странной попутчицей выглядел особенным. Не копилась усталость, корни не под-

ворачивались под стопы. Птицы и звери не прятались и не уходили прочь. Бабочки и стрекозы едва слышно шуршали, то и дело садясь украшением на темные волосы.

– Ох...

– Ты всегда так по лесу ходишь – считая стволы лбом? – с некоторым сочувствием рассмеялась мавиви, останавливаясь и оборачиваясь. – Садись-ка сам на коня. Это я виновата. Сухость ложных чужих клятв больше не жжет тебя, но к этому тоже надо привыкнуть. Мир кажется ярче, ведь так? Даже чересчур яркий, от него кружится голова.

– Да.

– Потому что душа постепенно восстанавливается. Удачно, что был дождь. Тебе это на пользу. Не знаю, кто придумал злую глупость о двух душах махигов, только он лгал.

– Но все знают! У нас две души. Правая и левая... левая малая, с ней связано сердце, и она есть даже у бледных. У некоторых. Правая же – дар леса, если этот дар вернуть, можно обрести покровительство одного из могучих духов. Так говорят старики. Великое одолжение оплачивается великой ценой...

– Горячечный бред! – возмутилась мавиви. – Душа одна, два лика ее взирают в миры явленного и неявленного. И если ослепить один из ликов, можно запросто подцепить такую гадость, которая уже ничем не лечится. Кроме смерти... и то не всегда помогает. – Девушка сердито сорвала несколько листьев и приложила к шишке, готовой надуться на лбу спутника. – Ичивари, тот шнурок связывал тебя вовсе не с духом огня. Он сушил тебя и гнул, а еще тянул к тебе чудище, безумие большого пожара. Постепенно ашриг сделал бы тебя мертвым внутри. Головешкой. Пнем горелым. И это еще не самое худшее. Выжженная дотла душа становится опасна зеленому миру.

– Этого не может быть!

Мавиви серьезно одернула свою истрепанную рубаху, подняла руку, поймав на ладонь солнечный блик. Нахмурила темные брови:

– Меня зовут Шеула, и я говорю тебе то, что знает и шепчет большой лес. Твое право – верить мне или продолжать слушать иные голоса.

Ичивари снова заглянул в синие глаза. И подумал, что даже если бы она была не мавиви и даже если бы совсем, по обоим родителям, бледная... Он бы все равно поверил. Потому что нельзя человеку оставаться в лесу одному. Никак нельзя.

– Даже если отец меня выгонит из поселка и объявит безумцем, – со странной веселостью откликнулся Ичивари, – я не стану слушать иные голоса. Меня зовут Ичивари, и я говорю это не как сын вождя, а как сын большого леса.

– Ритуалы, продолжение суеверий, – попыталась насмешливо хмыкнуть мавиви.

Но было видно – ей приятны и важны сказанные слова.

Глава 2

Право на побег

«Воистину, всякий народ создает верование с чистой душой и глубокой искренностью. Ибо без веры мы, угнетенные суетным, не имеем почвы под ногами, не видим горизонта и не домысливаем мира за его изгибом. Вера – наш светоч и наши крылья.

Но позже, вкусив плодов древа познания, именуемого цивилизацией, мы утрачиваем природную искренность и заменяем веру обрядом. И нет более отдельных голосов, возносящих слова к Высшему, на смену им является хор. Кто-то в слитном гомоне поет, а кто-то и рта не раскрывает, не зная слов и не слыша музыки... Стройность гармонии разрушается, и Высший, надо полагать, спешит прикрыть окно, дабы не оскорблять своего слуха извращенной музыкой... А мы поем все громче, заменяя душевное рвение напряжением горла. Стоящие на хорах повыше иных принимают высматривать молчунов, дабы указать на них: «Глядите, вот ересью отмеченные, по их вине закрыто окно! Воздадим им за грехи их по нашему разумению! Но прежде вызнаем, кто научал и кто потворствовал».

Подменив Божий суд людской расправой, вынуждаем мы Высшего задержать штору и отойти от окна. Так безверие делается губительным ядом, отравляющим даже чистые помыслы и намерения».

(«Размышления о вере», из личных записей Рёйма Кавэля)

Корни кедра моей души уходят глубоко, сплетаясь с корнями гор. Корни пьют сок земли и хранят память об ушедших. Голоса предков звучат в шелесте хвои. Живая память... и живая боль. Пятьдесят годовых кругов опоясали сердцевину ствола, отделили счастливую молодость от нынешнего лета. Тогда кедровник на склонах снеговых гор не знал звона стального топора. Темная живая хвоя не корчилась в огне, разведенном бледными. Бездушными, глухими чужаками, не способными ощутить и расслышать, как кричит от боли умирающий старейшина леса, как он стонет, бессильно цепляется лапами ветвей за соседей и все же падает, подрубленный. Он помнил многие поколения людей гор и мог бы запомнить еще так же много... Но пришлые люди оказались более чуждыми и враждебными, чем безумие пожара или ярость взбесившегося горного оползня.

А я был молод и обманулся их сходством с нами – людьми зеленого мира. Я рассказывал им о горах, пояснял им наши обычаи, учил жить в лесу, старался найти с ними общий язык. Никто из нас еще не знал слова «дикарь». Они так звали нас, но мы полагали – это совсем простое слово, обозначающее чужих людей. Только мы для них были не люди. И даже не скот. Мы были, как и наш лес, – дрова для огня, именуемого «цивилизацией».

Теперь я знаю много новых слов. Не просто в звучании и произношении, я постиг их глубинный, настоящий смысл. Я смог заглянуть еще глубже, за слова. Я научился представлять себе очень точно, как крутятся в головах таких вот холодных людей железные шестеренки мыслей. Мертвые, полированные. Изготовленные мастером своего дела, ловко подогнанные одна к одной, шестеренки создают совершенный в своей техничности механизм, именуемый «логикой». Совершенный – и бездушный... Теперь я знаю.

Но я не могу ничего вернуть, и знание мое приносит лишь скорбь. Ибо прошлое рухнуло под топором железной логики. Оно сгорело в кострах нашествия, стало пеплом в пожаре большой войны. Опыт и память леса твердят: жизнь возрождается и на пепелище.

Жизнь неистребима, ибо в каждой смерти есть зерно нового рождения. Мы выстояли и не отдали свой лес. Корабли первого похода бледных сгорели. Второй их поход оставил на берегу широкий след трудного противостояния. А черные, обглоданные огнем ребра судов третьего нашествия и ныне не сгнили, напоминая о наших победах. Мы сильны как никогда. Мы обрели знание, даровавшее им могущество. Мы стали равны нашим врагам... или станем со временем.

Так почему кедровой смолой на срубе души выступает эта скорбь? Да, мой род, род кедра, умирает, но люди леса живы. И кедровник снова вырастет, поднимется строем бронзовых тел-стволов по склонам снежных гор. Мы победили. И когда бледные снова пригонят к берегу корабли, мы опять одолеем их. Изгоним, уничтожим. Развеем по ветру саму память о чужаках... У нас хватит сил.

Но ни я, ни кто-либо иной, даже наделенный непомерным могуществом, уже не вернет прошлого. След бледных отпечатался на нашей земле. И я слышу, как сухо и точно пощелкивают шестеренки бездушной логики в голове вождя махигов, мужа моей дочери. Я вижу, как рука его наугад выбирает из поленицы дрова, не отличая стволов, срубленных живыми, от сухостоя. Это рука, обтянутая бронзовой кожей настоящего чистокровного сына леса. И принадлежит она существу, не отличающемуся внутри, в сознании и оценке мира, от бледного. Нет, конечно, не того, самого страшного – явившегося уничтожить наш зеленый мир. Но, увы, мой названный сын – не человек леса. Пусть мой Даргуш не всегда таков, и мне ли не знать, что порой только логикой и холодным рассудком можно сохранить мир внутри народа – учитывая интересы, играя на слабостях, выбирая удобных союзников. Так было и прежде: вожди не всегда и не обязательно искали поддержки у наполненных душой, они внимали и голосу тех, кто наделен силой, влиянием...

Мы выиграли войну и отстояли свой берег. Но мы утратили так много, что, может статься, нас уже и нет. Уйдут старики, срубленные топором смерти. Рухнут, как тот кедр, – цепляясь за прежнее, но не имея надежды устоять... Слезами выступит смола на мертвых комлях стволов – и пресечется память. Иссякнет связь людей и леса. Мы станем отличаться от бледных лишь оттенком заката на коже. Но разве это отличие, зримое и наглядное, хоть в чем-то существенно?

Мы выиграли войну – и стали ее жертвами. Теперь я знаю это вполне точно. Нельзя изменить всех нынешних людей поселка и нельзя вернуться в прошлое. Но я совсем иного желал и к иному стремился! Я, нелепый и наивный, хотел вырастить на пепелище утраченного лишь одно-единственное живое деревце. Я верил, что так смогу обмануть безжалостное время. Увы, пришла моя зима, иссякли надежды. Я более не вижу способа принять знание бледных и остаться детьми леса. Но я стар и сам тоже принадлежу прошлому. Нужны молодые корни, полные силы роста, способные дотянуться заново до сокровенных глубин памяти большого леса – и соединить их с нынешней жизнью... Найти способ. Ведь должен же существовать таковой! Потому что в каждом изменении содержатся и гибель, и зерно нового рождения...

Но, видимо, когда умер наш кедровник, духи отвернулись от нас. Я растил его живым деревом большого леса. А вождь, сколько мы ни спорили, все же пожелал видеть его дровами для большого огня. И без жалости отправил к мертвому при жизни мерзавцу, именуемому наставником...

Я не смог вырастить его живым и самостоятельным.

Я напрасно ждал, что он хотя бы придет проститься.

Я ошибся, уповая на то, что лес скажет свое слово.

Так зачем мне стоять последним старым кедром на пепелище? Для кого беречь память? Шестеро моих учеников отреклись от мира, и Плачущая похоронила их души, отметив свою

скорбь черной мертвой Слезой. Я это пережил... Я надеялся и не сдавался. Но увидеть эту отметину непоправимого и невозвратного – в седьмой раз! – на ладони родного внука... Нет.

В последний раз я провожаю закат в долине Поникших Ив. Завтра уйду домой. Пусть старые кедры верхних предгорий мертвы, а новая поросль еще слаба, но все же там, в истоках реки, больше жизни, чем здесь, в сердце леса...

Отсюда, со скального лба, долина особенно хороша. На закате смуглая кожа дальних скал кажется живой и теплой. Каменные ладони обнимают склон холма, пронзительно и радостно зеленый в лучах низкого солнца... Поникшие ивы, деревья души самой Плачущей, гладят длинными тонкими пальцами побегов горячую бронзу живой воды. Она – утешение, и всякий истинный махиг знает, как принять лекарство, избрав то, которое нужно его больной душе.

Испей – и наполни душу...

Умойся – и попроси о прощении.

Коснись – и обрети силу жить вопреки утратам и боли.

Просто смотри, впитывай вечер, слушай голос воды – и не познаешь отчаяния одиночества и утраты надежд...

У меня за спиной, на плечах моих – свод заката. Теплота его жидкого золота течет по коже, сияет в волосах и рисует у ног черную ночь тени. Лучшее золото мира. Небесное. Посвященное духам леса. Чистое, не оскверненное позором взвешивания и оценки. Без счета и меры вечер высыпает его в очаг ночи. А та, пользуясь силой тайны и покровом мрака, отливает из золота души и вкладывает их по своему усмотрению... Кому большую и горячую, а кому и осколок, окалину... Разве угадаешь заранее? Нам, людям, и не надо гадать. Мы вольны черпать золото из каждого вечера. Если не прельстимся чем-то меньшим, годным для взвешивания и измерения.

Скоро золото стечет и впитается в кромку горизонта. И я уйду на север, к горам. Поэтому я не пью воду жизни, не умываюсь ею и даже не касаюсь поверхности. Только смотрю. Мне требуется помощь в преодолении грядущего одиночества.

– Дед!

Ичивари с беспокойством оглядел долину, совсем тихую, достаточно маленькую, чтобы он, сын леса, мог уверенно заметить след присутствия человека, если бы тут кто-то был... Тем более что прятаться деду не от кого. Он бы и не стал. Соблюдая обычаи, дед бы расположился на ночлег на склоне, в нижнем течении ручья, до сумерек развел небольшой костерок, посидел на берегу, бережно касаясь закатного золота священной воды кончиками пальцев... Отсутствие деда настораживало и даже пугало. Мавиви вздохнула, похлопала коня по шее. И хмыкнула. Надо думать, приготовила новую насмешку. Беззлобную, но слегка обидную.

Сын вождя решительно поправил ножны. Снова огляделся – и заколебался, почти готовый проявить тяжелейшее неуважение к традициям. В конце концов, новая мавиви именует их предрассудками. И согласиться с ней особенно удобно теперь, когда страх тонкими коготками пробует спину. Цел ли дед? Он ведь должен быть здесь! Обязательно! Сейчас сезон золотых закатов. В долине нельзя шуметь на закате, но и не шуметь, получается, никак нельзя... Ичивари сложил ладони рупором и позвал в полный голос:

– Дед, я точно знаю, что ты здесь!

«Здесь?» – вздрогнуло разбуженное эхо.

«Здесь...» – засомневалось оно, прыгая по остывающей в сумерках бронзе камней.

«Здесь!» – обнадежило эхо, возвращаясь и дробясь отдельными звуками...

– Знаешь, я полагаю, Плачущая, роняя живую Слезу, не имела в виду необходимость сохранить тебе жизнь. Просто ты и ее терпение истерзал, ты же невыносим. – Мавиви взялась за свое: упрекнула и уязвила. – Ты кого угодно до слез доведешь... Здесь нельзя шуметь!

– Я борюсь с суевериями, – возмутился Ичивари. – Сама же сказала, что все – сплошь суеверия.

– Я так не говорила, – насторожилась мавиви. – То есть я говорила, но не так. Ты пытаешься меня запутать?

– Кажется, уже запутал, – понадеялся Ичивари. И огорченно развел руками: – Дед пропал! Неужели я оплошал и тут, неверно выбрав путь? Как теперь искать его? Он в лесу невидимка.

– А ты попроси меня, вежливо, – прищурилась мавиви. – Поищу, но с тебя требую обещание испечь рыбу. Давай, проси скорее, пока он сам не нашелся.

Девушка обернулась, глаза блеснули в поздних лучах заката каким-то шальным азартом. Ичивари вздохнул и совсем собрался просить и обещать... а потом сообразил, что именно ему сказали. И рассмеялся. Дед вовсе не пропал, такое облегчение! Дед сидел и наполнял душу красками заката. Значит, вот-вот явится из сумерек, беззвучнее духа и свирепее роя пчел. Дед никому не прощает нарушения тишины священной долины. Опять же сама мавиви полагает эту традицию отнюдь не суеверием...

Дед действительно явился из теней внезапно, шагнув из наполняющей долину ночи на последний островок заката у опушки. Но, странное дело, при этом ничуть не был сердит.

– Чар, малыш. – Голос деда как-то подозрительно дрогнул. – Ты все же пришел сюда... Видимо, священный конь и впрямь умеет выбирать верные тропы.

Закат высветил лицо деда, пряча морщины и делая его моложе. Да и улыбка – такая редкая в последние встречи, такая теплая и искренняя – тоже стирала годовые кольца возраста... Пожилой махиг перевел взгляд на спутницу внука: он видел лишь ее силуэт в сиянии остывающего багряного заката. Ичивари вздохнул и приготовился объяснять и рассказывать, убеждать и пояснять... Но лицо деда было таким странным, глаза блестели подозрительно ярко, а тишина висела хрупкая, настороженная и непонятная. Нарушить ее Ичивари не решился. Он знал деда и видел: не время. Старый только что впитал закат и теперь еще полон истинным золотом леса, как сам он называет это состояние единения с зеленым миром. Редкое, восхитительное состояние ясности и полноты восприятия, именуемое у махигов «вимти». В языке людей моря нет нужных слов для описания этого чувства... Разве что «вдохновение», хотя и оно не вполне точное. Сам Ичивари лишь однажды ощущал нечто подобное. Как раз в этой долине, сидя на высокой плоской скале рядом с дедом. Давно это было, тогда восьмое годовое кольцо едва опоясало ствол его жизни.

Лицо деда дрогнуло и посерьезнело. Махиг протянул руку и кончиками пальцев погладил пушистый багрянец закатного ореола волос мавиви.

– Мой дед мне однажды сказал, когда я был молод, как сейчас – мой Чар... тогда я не понял его слов. Он так сказал: «Только познав смертную жажду, можно оценить сполна сладость воды». Сегодня я расстался с надеждами и собрался в дальнюю дорогу, невозвратную. Я не просил ни о чем духов, но я получил непрошеное и немыслимое... Ты очень похожа на свою бабушку, я это ощущаю всей душой. Не удивляйся, мы, старики, таковы. Нам проще рассмотреть сгнувшее, чем настоящее. Я видел ее в последний раз очень давно. И ей тогда было не более пятнадцати годовых кругов.

Мавиви поймала руку старика и вцепилась в нее так, словно тонула и искала спасения. Сделала шаг в сторону и еще шаг – чтобы не стоять против света. Чтобы не обманывать махига и дать ему рассмотреть и синие глаза, и достаточно бледную кожу... Дед рассмеялся, обнял одной рукой плечи внука, а другой – мавиви. Оттенок кожи никак не повлиял на его настроение.

– Я был бы совсем мертвым кедром, если бы не видел мир глазами души. Ты похожа на свою бабушку, очень. Кстати, у нее тоже были синие глаза. Только такие темные, что кое-кто по ошибке считал их черными... Идем, нам следует устроить удобный ночлег. Хотя, полагаю, нынешняя ночь принадлежит разговорам, а не сну. – Пожилой махиг зашагал по склону вниз, в темную чашу долины. Не глядя на внука, негромко добавил: – Ты сегодня нарушил достаточно традиций, чтобы переживать по поводу соблюдения еще одной... Налови священной рыбы в запретном озере.

– Суеверия, – взялась за прежнее мавиви, порицая чужие ошибки. Или попробовала заступиться за спутника? – Ничего священного в рыбе нет!

– О, я это знаю совершенно точно, – серьезно кивнул дед. – Сам тайком ловил рыбу раз десять. И ничуть не пропитался святостью. Не заметил сияния вокруг головы, о котором твердит гратио Джанори, собирающий по крохам знания о боге бледных. Не было и голоса леса в ушах, обещанного хранителем долины нам, махигам. Все, что помню, – лишь ощущение сытости, да.

Мавиви тихонько хихикнула и плотнее прижалась к боку старого махига, признавая его право распоряжаться ночлегом и выбирать тропу. Немного помолчала, наблюдая, как Ичивари удаляется к берегу, – бегом, указания деда он привык исполнять без колебаний.

– Я могу звать тебя дедушкой? – осторожно уточнила она. – Это было бы замечательно... Никогда не встречала таких живых людей. Если бы нашла, не пряталась бы от них в чаще.

– Конечно можешь, и я буду этому рад. Лес призвал твою бабушку? – тихо спросил старый махиг и добавил, не дожидаясь ответа: – И ты оказалась совсем одна... Полагаю, она оставила тебе все, чем владеют мавиви. Я помню, она как-то пошутила, мол, имя – это единственное, что можно передать по наследству. Если так, твое имя мне известно, Шеула.

– Уже год никто не зовет меня по имени, – пожаловалась девочка. – Так трудно одной... И еще труднее с людьми. Словно все в нашем зеленом мире побледнело и утратило чуткость к лесу. Хотя бабушка говорила: «Лес всегда слышали немногие и не каждый день». А дед звал меня этой... идеалисткой. И еще он повторял одно слово бледных, совсем нелепое, я долго его учила. Погоди, вспомню. Да как же оно выговаривается? – Мавиви сердито потерла лоб тыльной стороной ладони. Улыбнулась. – Вспомнила! Я – перфекционистка.

Старый махиг заинтересованно шевельнул бровью. Отстранив ветки, он указал рукой на небольшую полянку, с трех сторон окруженную ивами, выходящую к самому озеру, бросил в траву свой легкий мешок, стряхнул с плеча скатанное одеяло, расправил его и усадил новую «внучку». Проявляющий чудеса расторопности Ичивари уже волок сухие ветки. Уронил у опушки и сам упал на колени, стал резать дерн, готовя кострище.

– Любопытное слово, – отметил старик. – Я такого не слышал ни разу. Полагаю, оно многое говорит о твоём дедушке. Еще я надеюсь услышать историю целиком.

– Кто он такой был и... – уточнила мавиви, небрежно махнув рукой, чтобы в одном жесте уместить все недосказанное.

– Мы все считали мавиви Шеулу погибшей в плену, – вздохнул махиг. – Мой друг нашел след захвативших ее бледных и добрался до самого берега. Он видел, как женщину, которая была без сознания, унесли в лодку и доставили на большой корабль. Три дня спустя люди народа кедров сожгли берег и захватили корабль. Было трудно. Мы потеряли многих... От выживших бледных мы узнали страшное. Она умерла. Я сам спрашивал. – Глаза старого воина блеснули холодно, лицо ненадолго утратило приветливость. – О да, не вздыхай. Им было очень плохо, но тогда мы воевали, и нам нужна была правда любой ценой... Бледные не лгали перед смертью. И все же их слова оказались фальшивыми, как я понимаю.

– Я расскажу все точно так, как мне самой описывал дед, – предложила мавиви. – Бледные на корабле ничего толком не знали о бабушке, она попала к тем, кто не делится добытыми сведениями ни с кем... Получится длинная история, дедушка Магур.

– Разве тебе самой хочется укоротить ее? – улыбнулся старый махиг. – У нас есть время, и нам следует произнести немало слов, чтобы научиться хоть изредка обходиться без них в понимании друг друга... Слова всегда помогают строить мостик от души к душе, если они не содержат гнили, создаваемой ложью... Только сперва мы дождемся Чара. Иначе он расстроится, и тебе придется повторить рассказ заново.

– Почему ты всегда зовешь его иным именем, не тем, какое он сам мне назвал? – удивилась мавиви.

– Потому что он сын моей дочери и по крови народа кедров наречен Чаром, это имя моего брата, погибшего в первую войну с бледными. По крови отца Чар, как сын вождя, получил иное имя, Ичивари. Вождь Ичива был великим воином и моим другом... Но история последних дней его жизни очень грустна и даже несколько туманна. Меня беспокоит бремя наследования всех деяний вождя моим внуком. Но Ичивари как раз и означает – наследник деяний Ичивы. Ведь так?

– Так...

– Сегодня я не стану рассказывать историю, о которой ты готова спросить, – покачал головой старик. – Не время. Да и место неподходящее. К тому же мы с Чаром сегодня слушаем тебя, маленькая мавиви.

– Уже слушаем, – кивнул юноша, бросая палку с нанизанной через жабры рыбой и встряхиваясь, так что с волос во все стороны полетели брызги. – Я так спешил! Мне казалось, вы можете самое интересное обсудить без меня.

– Мы даже не развели огня, – утешил внука Магур.

Ичивари кивнул и занялся костром, стараясь поменьше хрустеть ветками и не мешать рассказу. Мавиви села удобнее, вздохнула, прикрыла веки:

– Я буду рассказывать точно так, как это делал дед. Для него все началось сорок два года назад. Война длилась уже восемь лет, то есть годовых кругов...

– Мы уже поняли, что твой дедушка именовал их годами, по обычаю бледных, – заверил Магур. – Я помню то время. Четыре года мы, люди леса, гор и степи нелепо дрались друг с другом, пока бледные подливали масло лжи в огонь наших ссор. Но позже мавиви переговорили со всеми вождями, и следующие четыре года мы действовали уже согласованно, против общего врага. Стрелы еще как-то помогали нам отстоять лес, но в степи мы несли потери... Мавиви гор и леса ушли туда. В том числе Шеула, та, что обладала единой душой и принадлежала по рождению к народу кедров. И еще Эчима из верхних гор. Бледные поставили свои самые большие корабли у скал бухты Серого Кита. Их было много, и прибывали новые, море выносило их к берегу зеленого мира дважды в год... Всякий раз – с оружием, припасами и новой алчностью, неутолимой и страшной. Бухту они называли на свой лад – Золотым берегом. И золото, которое мы прежде не считали важным и полезным, стало нашим проклятием...

– Да, так и дед говорил, – отозвалась мавиви, не поднимая век. – Сорок два года назад, когда над бухтой плакали зимние дожди, все и началось... Флагманский корабль бледных бросил якорь в бухте Синего Орла. Он встал поодаль от берега, где глубина позволяла ему удобно разместиться. Дождь лупил в окна кают...

...Дождь так упрямо и монотонно лупил в окно, словно пытался передать некие важные сведения. Или выстукивал незнакомым шифром ответы на вопросы, которые никогда не высказывались вслух... Надо быть безумцем, чтобы задавать неудобные вопросы на флагманском корабле эскадры, пятый год пребывающей в состоянии изнурительной открытой

войны. Необычной и неожиданной. Кто мог подумать, что разобщенные племена дикарей достигнут согласия и вместе выступят против пришлых? И как они смогли договориться после всех усилий опытейшего ордена хитроумных менторов? Вот уж кто умеет напустить туману, запутать и насквозь пропитать сомнениями, чтобы сгноить прежние ложные верования и предрассудки и на жирной почве, освобожденной от сорняков, взрастить истинную веру. Надо полагать, его благость верховный ментор теперь пребывает в бешенстве. Ни одного прозелита на новых землях! А ведь он приплыл сюда на третий год с момента признания новых земель собственностью короны. Явился, дабы создать оплот веры и, что немаловажно, возглавить сей оплот. Пока возглавлять решительно некого, после восьми лет усердного труда – ни одного обращенного... Что же происходит? Не оказался ли великий поход за океан бессмысленным? И как сообщить столь дурную весть держателю чаши бытия, жаждущему укрепить веру в своих новых краях? Или королю, который уже полагает здешние леса и степи собственными владениями, уже учитывает в доходе казны, изрядно потрепанной войной и строительством флота, недобытое золото, по-прежнему лежащее на дне местных рек? Много вопросов накопилось, ох как много... Но – молчи, ведь, раскрыв рот, не успеешь выговорить первую фразу. Не успеешь, потому что услышат и примут меры.

«Всякий, кто будет уличен в снижении боевого духа, подлежит разжалованию в рядовые матросы и отправке на передовую, в лес, без права отдыха в прибрежных лагерях. Тот же, кто вознамерится подточить чужие убеждения и посеять смуту, заслуживает публичной казни» – таков указ адмирала де Ламбры, оглашенный два года назад. С тех пор порядки не стали мягче, наоборот. Теперь смутьянов сперва отправляют к ментору: там исполнительные и бесстрастные оптио подробно вытягивают ответы на вопросы, обозначенные его благостью... Никто не умеет развязывать язык так, как тихие и несуетливые хранители душевного равновесия и самой веры, последователи ордена Священных Весов – менторы и подчиняющиеся им оптио...

Перо нырнуло в мелкую чернильницу, ненадолго задержалось над ней после купания, сгоняя лишние капли, и скрипнуло по бумаге, оставляя буроватый блеклый след. Чернила уже пятый год делаются здесь, он сам составил рецепт и не вправе роптать на убожество оногo. Укус стрелы теперь подстерегает людей в лесу чаще, чем укус комара. Добыча растительных ингредиентов сделалась не прогулкой, а военной операцией... Дикий край! Чужой, порождающий лишь озлобление. Скоро, пожалуй, и дневник вести запретят. От его записей нет пользы для военной кампании, выдачу драгоценных листков и так сократили втрое. Хорошо хоть он сам заказал бумагу, и посылка прибыла с почтовым бригом... Еще лучше то, что он знает больше наречий, чем даже ментор и весь его орден, процветающий на землях прибрежного юга. Можно писать чудовищную крамолу, почти не опасаясь разоблачения. Побуртски, например. Менторы не знают даже того места на карте мира, где следует искать родные кочевья буртов. Это точно.

«Непонимание наше переросло в кровавую и страшную войну на истребление, и ничто уже, кажется, не изменит грядущего. Еще одна невероятная, уникальная и чуждая нам общность людей останется лишь частью истории, мертвым пеплом прошлого. Между тем я не понимаю даже причин для внезапного начала войны! Они были к нам добры, как наивные дети. Они служили проводниками за горсть красивых бусин, даже за простое «спасибо». Они проявляли любознательность и со странным великодушием делились своими обычаями, учили языку и не отрицали нашего права быть иными и верить в иное... Но все кончилось в один день, черный, как обугленные стволы их леса, горящего теперь слишком уж часто... Я все еще надеюсь хотя бы записать и сохранить для истории то небольшое, что знаю о них. Словарь двух диалектов, легенды и предания. Теперь, когда я обеспечен бумагой, купленной впрок на личные средства, могу приступить к прерванной работе. Итак...»

В дверь пробарабанили часто и резко, даже дождь, кажется, смущенно притих за окном. Пришлось с сожалением отложить перо, убрать лист в ящик стола и поправить куртку. На флагманском корабле недопустимо самому невоенному из невоенных расстегивать пуговицы форменной одежды и тем сеять смуту в душах матросов, плотно упакованных в форму... Тем более теперь, когда корабль невесть с чего перевели с главной стоянки на дальнем рейде сюда, в мелкие опасные воды, да при малом охранении.

– Иду, – вздохнул он и в два шага пересек свою крошечную каюту, протискиваясь меж узкой кроватью и переборкой. – Уже иду.

Само собой, посыльный не стал ждать отклика и распахнул дверь. Не снизошел до поклона, лишь отметив намек на вежливость коротким прикрытием век.

– Их благодать сэнна изволили звать. Срочно.

– Надеюсь, чаша их жизни полна? – с притворным испугом уточнил хозяин каюты, нагибаясь и вынимая из-под койки кожаный саквояж.

– Полна, хвала небесам, – почтительно отозвался посыльный и поклонился, хотя ментор был весьма далеко.

Не сочтя поклон достаточным для ответа, посыльный зашептал молитву, призывая здоровье и благодать небесную на помощь ревностному служителю. А то донесут, что не желал здоровья, и тогда о тебе самом молиться станет поздно и бессмысленно... И назвал-то как, сэнна – «радатель благодати», и никак не менее...

Покинувший каюту человек зашагал по узкому коридору, усмехаясь и хмурясь одновременно. Зачем он понадобился? Отряды, сменяющиеся раз в месяц, вернутся в прибрежные лагеря лишь через неделю. Адмирал изволит вторые сутки болеть тем, что не требует лечения, поскольку похмелье для их светлости привычно и нормально. Сэнна ментор, а именно так обозначается титул полностью в иерархии не ордена, но большой машины веры, – так вот, этот тучный столп веры вчера получил свое кровопускание, дня на два этой меры обычно хватает...

Тесный и затхлый коридор, скудно освещенный лишь огоньком свечи сопровождающего, своим видом и запахом изрядно подрывал боевой дух. Между тем он принадлежал лучшей части корабля, второй палубе, где обитают более-менее ценные люди, заслужившие право занимать каюты. Настоящий черный и беспросветный кошмар – жизнь в недрах трюма. Там спят вповалку и посменно, а питаются содержимым котла, которое не имеет подходящего названия. Варев? Пусть будет варев. Гнилая солонина, гнилой рис и гнилая вода... Хотя ручьи и пригодные для охоты уголья рядом, но там чужой и враждебный лес с его жителями.

Вчера он трем морякам вскрыл и обработал обширные нагноения. Пока не начался большой мор, вынудил боцмана удалить людей на берег и вычистить всю третью палубу, выскоблить до светлой древесины. Отсрочил эту напасть еще на какое-то время. И остро позавидовал адмиралу с его способностью неограниченно пить и упрямо не замечать убыль людишек, что мрут как мухи... И еще он проклял свое упрямство. Зачем сунулся в столицу тагоррийцев? Чего искал и к чему стремился? Кто внушил ему нелепое заблуждение относительно прелести дальних странствий и сладости тяги к приключениям? Почему намерение увидеть берег, на который прежде не ступала обутая нога цивилизации, стало навязчивой идеей?

Десять лет он расплачивается за юношеские бредни... При должной прагматичности он бы никуда не поехал. Зная о хорошем отношении к себе наставников в университете, мог бы уже получить рекомендации, защитить научную работу и преподавать, пожалуй. Жил бы тихо, в уважении и покое. Или мог вернуться на север, на родину матери. Или... Какой смысл травить душу? Он здесь, и он все еще не расплатился за ошибки юности. Он даже

готов поверить в реальность божьего промысла, ибо с точки зрения высших сил заслужил кару как безбожник и тайный хулиатель веры. Заслужил и обрел.

Вот и узкий винт всхода на первую палубу. Сквозит ветерок, пытается донести оттуда запах моря и влажного леса. Но провожатый упрямо тащится по коридору дальше, к просторным кормовым каютам. Туда, куда люди в большинстве своем стараются даже не смотреть лишний раз, – во владения тихих и немногословных оптио... Вот стоит и ждет вызванного человека один из них, как две капли воды похожий на прочих оптио ордена: серенький, сутуловатый, с неприятным мертвым подобием улыбки, оттягивающей уголки губ. Словно у него есть клыки, но именно теперь они спрятаны... Оптио кивнул и отвернулся, не тратя сил на приветствие.

– Саквояж при вас, – прошелестел он. – Полагаю, вы осознаете необходимость хранить тайну увиденного и услышанного в покоях ордена?

Последнюю фразу сказал еще тише и не оборачиваясь. Еще бы! Условия выживания известны каждому и не требуют дополнительного разъяснения. Оптио и не пояснял, и не напоминал – просто слегка пригрозил... Провожатый отстал. Темнота коридора сделалась окончательно неуютной и тесной. Наконец, спотыкаясь и шаря рукой по переборке, удалось добрести до нужной двери. Оптио отворил дверь, шагнул в сторону, глядя в подбородок, пропустил вперед и щелкнул за спиной замком... Пришлось щуриться на пороге, топтаться и ждать, пока глаза привыкнут к свету, яркому после тьмы коридора, хотя не горит ни одна свеча, всего лишь раздвинуты шторы на окнах.

А вот и его благодать второй прементор Тагорры, назначенный ментором новых земель то ли во исполнение благоволения ментора, то ли с тайной насмешкой: плыви, пробуй, выбивайся из сил и не путайся под ногами в славной Тагорре, где имеются служители с куда лучшей родословной... И вот он приплыл и сделался высшим властителем. Увы, лишенным прозелитов, а равно и благоволения ордена.

Ментор нового берега безглаголиво смотрел на дождь из своего кресла, потягивая крепленое вино и изредка выбирая с большого блюда вымоченный в уксусе чеснок. Нелепое сочетание вкусов, а также дань страху перед заразой, пропитавшей корабль, кажется, насквозь. «После уксуса неизбежны колики и отеки ног», – обреченно подумал вызванный, не поднимая глаз и рассматривая руки ментора. Кожа нормального оттенка, ногти не синюшные, перстни сидят плотно, но не вросли в отеки, самих отеков пока что нет... почти нет.

И грустно, и смешно. Его, врача, зовут – и его же сейчас будут пугать. Его бы охотно отдали оптио как хулиателя, достойного медленной и страшной смерти. Но когда вера сталкивается с недугом, тогда и видна истинная ее прочность. Ментор не замечал улучшения состояния и после ста хороших прочтений «теус глори», зато хорошее кровопускание раз за разом поднимает его с ложа. Поэтому безглаголивость и подозрительность до сих пор не переросли ни во что большее и по-настоящему угрожающее. К тому же врач, явившийся по первому зову, не выглядит опасным. Среднего роста, лишенный живого обаяния, блеклый, с водянисто-неопределенным цветом глаз и столь же мышино-невнятными прилизанными волосами. Чужак среди более смуглых тагоррийцев. Почти изгой...

– Неверное чадю явилось по нашему зову, – лениво отметил ментор. – Как мило, клянись таинством наполнения... Скромно изучаем ковер на полу и норовим вычислить причину вызова. Мол, он еще не так и плох, наш ментор, рановато его ножиком тыкать... Ты северный неублюдок, – тише и злее сказал ментор. – Твоя мать вряд ли была крепка в вере, сам ты еще десять лет назад числился подданным короля сакров... Вспоминая это, всякий раз мы желаем попросить наших оптио уделить время воспитанию в тебе истинного радения в вере. И обретению глубокого покаяния, чадю. Слал ли ты тайные сообщения в земли обетованные? Рёйм, речь идет об измене. Твоей измене короне Тагорры и...

– Увы, только заказ на поставку бумаги, о сэнна, – продолжая рассматривать толстый ковер, сообщил прибывший, не дослушав.

– Увы? – удивился ментор. – Да это бунт, клянусь чашей света! «Увы»!

– Я намеревался отослать еще и прошение о поставке аптекарских порошков, – быстро добавил названный Рёймом. – Однако их светлость сочли мои запросы излишними. Я желал получить настои на травах, грибные эликсиры, медовые порошки, сухие корни и соцветия. Но их светлость изволили гневаться и предложили мне лечить водою светлою из чаши дароносной...

– Их светлость – истинный ревнитель веры, – сказал ментор неподражаемым тоном, соединяющим фальшивую похвалу и вполне настоящее раздражение.

– О да, – скромно согласился Рёйм. – Осмелюсь добавить: если до лета я не получу хотя бы настои, мне придется и вас лечить исключительно водою, сэнна. Светоносной.

– Не дерзи, – без прежнего нажима буркнул ментор, поправляя полы просторного багрового плаща. – Принес бы свои писульки моему секретарю и с должным смирением подал прошение... Их светлость кругом прав. Настои твои создаются на винах непомерной крепости, соблазн в том очевиден, и немалый. Чад, озаренных светом, от пропасти падения оберегает вера, ты же заблудший, и питье тебе – прямой путь во мрак... Внял ли?

– Мудрость их светлости безгранична.

– Ересью полны и слова и измышления. – В тоне ментора скользнуло озлобление. – Но, допустим, писем сакрам ты не отсылал... Допустим. И даже предположим, что тебе достанет ума молчать о нынешнем нашем деле. Чадо... – Ментор потянулся к своему узорному жезлу в золотой отделке, ловко поддел им Рёйма под подбородок и вынудил глядеть в свои темные и не имеющие ни дна, ни выражения глаза, спрятанные в морщинах складчатых век. – Молчать – означает не записывать и не помнить даже. Пока руки целы и язык ворочается.

Жезл уперся под подбородок так плотно, что сбил дыхание. Звался этот атрибут власти «опорой равновесия» и должен был служить всего лишь украшением. Но Рёйм твердо знал: внутри «опоры» имеется клинок длиной в целую ладонь, выбрасываемый с изрядным усилием при нажатии на не приметный выступ... И если однажды врач разозлит ментора всерьез, если перешагнет незримую и доподлинно неведомую им обоим грань дозволенного, клинок с хрустом врежется в горло и выйдет возле затылка. Тогда оптио, не проявляя никаких чувств, расторопно подхватят тело и завернут в мешковину. Никто не осмелится даже заметить исчезновение Рёйма Кавэля, которого и доном-то звать не обязательно: наследного титула не было у отца, да и сам он подобной чести не заслужил... Врачей принято именовать донами, лишь когда они умеют молчать и успешно лечат.

– Полнотою чаши правой клянусь хранить тайну со всем доступным мне усердием, – тихо и сдавленно шепнул Рёйм, сполна осознав угрозу. – И покрыть ее забвением.

– Забвением. – Веки лишенных блеска глаз сошлись. – Верю, чадо. На этот раз верю. И в рассудок твой, и в страх. Дело наше в сей день особенное, требующее полного усердия. Ересь великую вскрыли мои оптио. Ересь темную и ужасающую. Лишь глубина тьмы и объясняет в некоторой мере их излишнее... усердие.

Рёйм опустил голову и задышал по мере сил тихо и ровно, едва жезл отодвинулся от горла. Он прекрасно знал, что означает в действительности упомянутое «усердие». Оптио кого-то пытали и довели до полного истощения, не получив ответов. Прежде к нему ни разу не обращались по поводу дел ордена, тем более не допускали в пыточные каюты. И это было благом, ибо вступивший туда по доброй воле не всегда столь же беспрепятственно покидает помещение живым, на своих ногах. Хотя при чем тут добрая воля? Ему приказали, и возражений быть не может. Ментору не возражают, ему кланяются. Рёйм склонился с подобающей неспешностью:

– Любое содействие ордену есть великая честь, сэнна.

– Проводите, – велел ментор и снова повернулся к столику, шаря толстыми пальцами в чаше с уксусом.

Рейм пошел к дальней двери следом за очередным неприметным оптио. При этом он ощущал себя погружающимся в болото, гибнущим и обреченным. С него взяли клятву, но разве сэнна верит в молчание живых?

Дверь отворилась без скрипа, пропуская в обширную каюту, погруженную в полумрак. Ни единой зажженной свечи. Два узких, как бойницы, оконца не могли дать должного света. В сумерках же вид пыточной производил вдвойне пугающее впечатление, воображение норовило дорисовать недоступное глазу, сокрытое и чудовищное. Каждый блик на инструментах непонятного назначения источал угрозу. Каждый шорох казался движением умирающего... Кого пытали оптио здесь, на флагманском корабле эскадры, в своем самом тайном и страшном оплоте ордена по эту сторону океана?

Почти на ощупь Рейм пробрался мимо тяжелых массивных устройств, стараясь не думать об их назначении. Достиг дальнего угла каюты, глядя строго в спину оптио. И когда тот отодвинулся в сторону, оказался один на один с ответом на свои вопросы. Тяжело выдохнул сквозь зубы, не в силах скрыть подступившую тошноту. Он никак не мог предположить, что жертвой ордена окажется женщина. И что в таком состоянии еще можно жить – тоже предположить не мог... Мысли и страхи спрятались в сумерках, саквояж вроде бы сам собой угнездился на удобной поверхности, руки уже открывали его и гладили ровные ряды знакомых инструментов. Совершенно очевидно, что следует оперировать, и срочно. Еще вполне понятно, что вмешательства женщина не выдержит, потеря крови велика, да и боль снять вряд ли удастся. Пульс едва вздрагивает последними толчками отчаявшейся жизни. Зрачки уже не отмечают присутствия света...

Рейм разложил необходимое и на мгновение замер. Трусливые мыслишки, попрятавшиеся в сумерки, неуверенно и несмело выбирались оттуда одна за другой.

Эта женщина – местная, из числа тех, кого именуют дикарями. Судя по удлинённому разрезу глаз и довольно правильному, в понимании тагоррийцев, тонкому, хорошо очерченному носу, по малому росту и относительно светлой коже... Племя гор? Определенно так... Если бы он имел время и желание копаться в памяти, он бы вспомнил название племени на здешнем наречии. То ли мари́га, то ли маги́ра. Неважно.

Зачем возвращать к жизни несчастную? Чтобы дать ей возможность испытать новую боль и новые унижения? Нет, не так, не стоит прятать настоящие ответы за фальшь и болтовней. Чтобы самому выжить, чтобы исполнить приказ ментора и покинуть эту каюту, не пострадав. Чтобы не испытать на себе то, от одного вида чего делается тошно ему, врачу, видевшему на войне всякое...

Сможет ли он забыть увиденное, как только что пообещал ментору и самому себе? Той трусливой и угодливой части своего существа, которая есть у всякого и красиво именуется желанием выжить? Ночью мертвая дикарка неизбежно явится и отравит сны, а утром оптио, обладающие превосходным слухом, будут ждать у двери каюты. Если он не смог забыть, ему окажут помощь. Последнюю. Или, что тоже не исключено, его прикончат немедленно, стоит проявить хоть малый признак колебания.

Так что же делать?

– После операции дон Диего выжил, – прошелестел голос оптио. – Сие было божьим знаком и немалой милостью, явленной нам, грешным.

Рейм нехотя кивнул. Как же, милость и знак. Он от полудня и до заката сшивал этот «знак» из обрывков тканей и кожи. Без надежды на лучшее, поскольку понимал: после у несчастного проявится жесточайшая горячка, и она сожжет медвежье здоровье дона дотла. Правда, жил тот еще целых пять дней и был в сознании... Потом из леса вышли нелепые дикари, два воина с короткими луками и одна женщина без оружия – дело было еще до

большой войны. Что они делали в палатке дона Диего, вряд ли знает даже оптио. И как может милость наполняющего чашу света изливаться через суеверных язычников-дикарей? Вопрос столь же нелепый, как и второй: почему дон Диего за один день угас год спустя, написав прошение об отставке и неизвестно по какому поводу поссорившись с адмиралом?

– Я не могу ничего сказать наверняка, – осторожно начал Рёйм. – Потеря крови огромна. Если судить о состоянии, исходя из механистической теории Эббера...

– Чадо, не богохульствуй и веруй в чудо, – сухо посоветовал оптио. – Ибо оно жизненно необходимо. Тебе.

В механистическую теорию Эббера, полагавшего людей эдаким набором шестеренок в чехле из кожи, Рёйм никогда не верил, как не верил и в чашу света. Однако ему хватило осмотрительности не помянуть почитаемое опаснейшей ересью учение первого из настоящих врачей: даже неполная копия его «Кодекса врачевания» хранилась в университете тайно. Механистика не давала умирающей женщине ни малейшей надежды на выживание, и это было... удобно. Запретное учение, гласящее о единстве четырех начал, а также о величии, соразмерности и гармонии стихий и сил, позволяло хотя бы предпринять попытку к исцелению. Более того: по неписаному закону, всякий, кого допускали к изучению запретного, приносил согласно воле древнего врача клятву не отказывать в помощи никакому больному... Сегодня данное слово сыграло с Рёймом злую шутку. Бывает, видимо, и так: неоказание помощи есть меньшее зло, нежели излечение, обрекающее на новые пытки.

– Мне понадобится свет, никто не должен мешать и даже находиться рядом, отвлекая меня, – распорядился Рёйм. – Больную следует положить на ровный стол, нужна вода, много...

– Мы изучили все, что касается дона Диего, – еще раз подчеркнул оптио. – И пока все твои указания соответствуют нашим ожиданиям. Поэтому они уже выполнены. Но огня не получишь, ни единой свечи, ни тем более жаровни. Сие есть воля ментора.

Произнеся последние слова с должным почтением и даже нажимом, оптио поманил рукой из сумрака кого-то незримого. Явились слуги, переместили загромождающие каюту устройства к дальней стене и установили у самого окна стол, положили женщину ближе к свету, скудно сочащемуся сквозь окна. Принесли еще один стол, емкости с горячей водой, ткань, крепкое вино.

– Мы оставляем тебя до заката здесь, трудись и моли Дарующего о чуде, – тихо молвил оптио, отвернулся и удалился.

Скрипнула едва слышно дверь, звякнула в проушинах тяжелая, окованная железом перекладина, запирающая накрепко каюту. Рёйм без сил опустился прямо на пол и обхватил голову руками. Как можно оперировать в темноте? Как работать инструментом, не прокалив его на огне? Как обходиться без помощника, хотя бы одного? Врач горько усмехнулся. Пока что он уверен лишь в одном. За ним не наблюдают. На чем бы ни основывался запрет на использование огня, он пошел во вред самим оптио. Их умение читать по губам общеизвестно, как и привычка следить издали, не выдавая себя. Простая логика позволяет сделать вывод: ему обязаны были выделить помощника-наблюдателя, чтобы не оставлять врача наедине с жертвой... Почему же исполнили просьбу и удалились?

Самое глупое и все же единственное непротиворечивое заключение: полумертвую женщину считают очень и очень опасной. А еще способной – вон как он осмелел в безосновательных предположениях! – ощущать присутствие верных чад ордена... Врач понадобился для лечения потому, что он – иной, и потому, что от его действий обычно бывает польза. Но что первично? Какой мотив – главный? И вот новый вопрос: в чем может состоять ужасающая ересь, приписываемая умирающей? Если бы таковая не содержала зерна пользы для ордена, женщину просто убили бы. Значит, это ересь, из которой можно извлечь благо? Рёйм усмехнулся, покачал головой, поднялся, опираясь на стол, и осмотрел тело более

внимательно, приводя руки к должной чистоте и прикидывая, как бы поудобнее разложить инструменты, нитки, ткани...

Женщину можно было бы счесть голой, если бы тело не покрывала мерзко пахнущая шкура, недавно снятая с оленя, пропитанная кровью и задубевшая. Она плотно обтягивала спину жертвы, живот и бедра. И была закреплена веревками и ремнями. Даже во время пыток эти ремни не снимали и не ослабляли. Рёйм недоуменно хмыкнул, добыл со дна саквояжа нож и срезал веревки. Содрал шкуру, брезгливо морщась и стараясь по возможности не причинять новой боли умирающей, а также не пачкать собственную одежду. Отнес шкуру подальше и бросил в угол. Придвинул к телу женщины бадью с водой и взялся протирать кожу, удаляя грязь и кровь. Увиденное заставило его нахмуриться. Женщина была молода и наделена необычной, редкостной красотой и соразмерностью тела. Таких замечают с первого взгляда и уже не забывают. Тем более – довольно светлая кожа и этот узкий прямой нос настоящей сакрийки, почти классические черты... Ее не получалось даже в мыслях именовать «дикаркой», отстраняясь от своего достаточно грязного дела, исполняемого по указанию мучителей несчастной.

Когда были удалены сгустки крови, раны женщины уже не выглядели безнадежными, а кожа – мертвенно-серой. Рёйм снова склонился к лицу, оттянул веко, намереваясь проверить зрачок... и вздрогнул. Женщина была если и не в полном сознании, то в некоем подобии бреда. Пульс неупорядоченный, настигающий... Это ничуть не соответствовало прежним наблюдениям и даже здравому смыслу, а также ставило под сомнение необходимость и собственно план операции, отменяло неблагоприятный прогноз ее исхода, данный сгоряча.

– Ашха... а-а-х.

Если бы он обладал опытом оптио, то смог бы куда точнее разобрать этот намек на шепот, послышавшийся в выдохе. Очевидно, женщина говорила, а точнее, бредила на родном языке. И, что вполне логично, просила воды. Похожее слово в наречии гор есть, и условия соответствуют. Хотя более точный смысл слова «асхи», как указано в словаре, составленном самим Рёймом еще до начала прямой войны, – «дождь, затяжной и непрерывный, а также пребывание под оным и созерцание оногo». В примитивных языках зачастую смысл короткого сочетания звуков избыточен и многозначен, не уточнен и изменчив в силу малого запаса слов, несформированности правил употребления...

И все же «пить» или «дождь»? Рёйм недоуменно глянул на окно. Вон он – асхи во всей красе, лупит в стекло так, словно рвется в каюту. Сильнее прежнего старается, да и ветер сменился: прежде дождь бился в его окно, а теперь хлещет струями по иному борту, левому... Осознавая всю бессмысленность своих действий, врач медленно нащупал задвижку, откинул и с трудом поднял к потолку тяжелую, открывающуюся вверх раму, закрепил на два крюка. Если несчастная хочет созерцать непогоду, уж в этом желании, по сути, последнем, ей никак нельзя отказать.

Дождь обрушился на стол, победно щелкая по древесине столешницы и мягко, беззвучно глядя струйками кожу больной. Рёйм хмыкнул: этого ему не простят, пожалуй. Уже натекла изрядная лужа на полу, неоспоримый след действий, разрешения на которые оптио не давали. Хотя решетки на окне такие – только дождю они и не помеха, зато всех прочих удерживают надежно.

Отрешившись от невеселых раздумий, врач накинуд на тело лежащей ткань, определив для себя первичной задачей обработку раны возле шеи. Снова перебрал инструменты, щурясь и не желая соглашаться с тем, что утверждали его собственные глаза. Если бы сейчас ткань мира с треском разошлась и в прореху просунулась рука с полной чашей света, он бы охотнее признал происходящее. Обыкновенный бред на почве переутомления: он почти не спит третьи сутки, устраивая очистку нижней палубы и трюма. У него у самого пульс далек от ровности и не имеет должного наполнения... Только бреда нет, он осознает себя совер-

шенно четко. И все же этот настойчивый ливень размывает и превращает в ничто незыблемые убеждения и единственную его настоящую веру в учение первого и лучшего из настоящих врачей древности.

Раны не могут закрываться самопроизвольно. Пульс не может меняться так стремительно и непоследовательно. Симптомы предсмертной агонии не способны исчезать без приложения малейших усилий. Когда он впервые увидел женщину, ей уже не помогла бы – да простит ментор за очередное богохульство – и полная чаша света.

Веки дрогнули, медленно приоткрылись, позволяя увидеть осознанный взгляд крупных, очень темных глаз, даже в сумерках таящих глубинную синеву. Женщина попыталась повернуть голову, жалобно вздохнула, отмечая боль и бессилие, и стала глядеть на его темную фигуру в темной каюте – искоса, не делая новых попыток сместиться. Взгляд ее был – нелепо признавать подобное – куда тяжелее и физически ощутимее, чем угроза мутных глазок ментора.

– Ты не машриг, – прошелестел голос едва слышно.

Рейм недоуменно пожал плечами. Незнакомое слово, странно вплетенное в ряд знакомых и произнесенных на языке тагоррийцев, почти без искажения. Поди пойми, что оно означает. «Ма» – один из наиболее глубоких, изначальных и загадочных в своей многозначности корней здешнего праязыка, давшего основу всем наречиям. В словаре Рейм самонадеянно и решительно описал его как «отражение одной из основ местного языческого культа, личностное начало, противопоставляемое общему». Грубейшее упрощение толкования, позже он это осознал, но править написанное не стал, не было ни сил, ни времени... Со второй частью слова и того хуже. Явный набор по крайней мере двух отдельных понятий. Точно не вникнуть, но если брать в целом и условно – имеется в виду нечто угнетенное, связанное с огнем. В голову лезут нелепые мысли: может, оптио не зря убрали свечи? Еще немного, и он сам впадет в суеверия и станет опасаться лежащего на столе существа.

Взгляд наполненных ночной синевой глаз пронизывает насквозь и беспокоит, тянет и – нелепо использовать слова ордена, но иначе и не сказать – искушает. Словно обещает допустить до некоей великой тайны. Испытывает и сомневается, беззастенчиво высвечивает в потемках самых дальних уголков души припрятанное от себя самого и рассматривает, оценивая.

– Они вернутся, убьют тебя, – так же тихо сказала женщина. – Они взяли тебя сюда, они хотят обмануть меня. Они знали: я еще живая, я хочу верить в спасение. Они хотят получить то, чего недостойны. И жажда для них большая! Дороже золота. Так, да.

– Нас могут подслушивать, – невесть с чего пояснил Рейм.

– Нет, асари благоволят мне. – Женщина смежила веки, но ощущение взгляда не пропало. – Не услышат.

– Мне дали время до заката, – добавил врач.

Он не сомневался в правоте израненной дикарки: ночь ему не пережить. Существо, лежащее на столе, едва ли в полной мере является человеком: понятным, описанным в медицинских трактатах. Она сама и есть тайна, столь важная для ордена. Одно чудо исцеления искупает для ордена менторов все неудачи похода в новые земли. Это чудо ведомо его благодати и является пока что ересью, ибо сотворено не орденом.

– Ты бледный, но не мертвый, крепкое дерево, так, – задумчиво добавила женщина. С сомнением свела брови, морщась от боли в разбитой скуле. – Не могу двигаться, сломана спина. Не смогу ходить долго, очень долго, пока зреют плоды батара. Мне нужен защитник. Нельзя дать силу ранвы тебе, бледный. Нельзя и опасно открыть тебе тайну обретения... Может, все тут туман и ложь, может, ты есть самая хитрая ловушка машригов для глупой мавиви?

– Я ничего не понимаю, хотя ты говоришь на языке тагоррийцев очень хорошо и внятно.

– Дай воды.

Рейм зачерпнул из бадьи, поднес большую медную кружку к губам женщины, осторожно и бережно приподнимая ее голову. Красиво очерченные ноздри дрогнули, губы плотно сомкнулись.

– Что не так?

– Вода уже умерла. Нельзя пить. Плохо, я совсем слабая... – Женщина глянула на Рейма и обреченно прикрыла веки.

На сей раз в глубине ее взгляда отчетливо читался самый обыкновенный страх. Ее пытали, и боль никуда не делась, как и память о пережитом ужасе. Скоро все с неизбежностью повторится. Женщина очень старалась не впасть в отчаяние и быть сильной. После общения с оптио она сохранила полную ясность сознания, это удивительно и достойно уважения. Она еще способна надеяться на спасение, даже искать выход из явно безнадежного тупика заточения... Из ловушки, в которую теперь угодил и он, врач, использованный с непонятной пока целью.

– Я не выдержу, если они снова... – Голос женщины дрогнул, на сей раз страх и боль почти выплеснулись, сдерживать их не осталось сил. – Лучше умереть теперь. У меня нет ранвы, я не могу надеяться. Мне нужен защитник, бледный.

Глаза распахнулись во всю ширину, в тайной их синеве отразилась многохвостая молния, озарившая на миг хмурый дождь за окном и всю каюту. Рейм виновато пожал плечами. Он стоял в луже изрядных размеров, мок под проливным дождем, находясь в недрах корабля, на второй палубе, – и ощущал обреченность полного и окончательного одиночества. Нелепо, но полумертвая и не способная самостоятельно двигаться женщина – теперь единственное на всем корабле существо, по-настоящему небезразличное ему и достойное, самое малое, жалости и уважения. А еще восхищения, вопреки своему измученному виду и почти закрывшемуся, но по-прежнему крупному и искажающему черты лица шраму на скуле. «Никогда мне не доводилось оперировать столь совершенное тело», – осторожно признался себе Рейм. Как не удавалось так близко подобраться к загадкам местного народа, притягательным и удивительным, завораживающим, как красота этой мавиви. В его словаре понятие «мавиви» описывалось до смешного просто, лишь одним словом – «врач». Потому что излечившая дона Диего женщина была именно мавиви, так к ней обращались воины. Надо полагать, тех воинов именовали «ранва» – защитник.

– Полагаю, мы, по мнению ментора, в равной мере погрязли в ереси. Нас тут заперли до самой смерти. Ты врач? – осторожно предположил Рейм и добавил, переходя на местное наречие: – Я тоже врач. Меня зовут Рейм, я говорю слова от чистого сердца: надо держаться вместе, нам обоим нужна надежда. Я готов тебя защищать, только я не очень хорош для воина...

Традицию местных жителей произносить клятву, начиная ее своим именем, Рейм усвоил давно и теперь впервые использовал, запинаясь и с трудом выговаривая слова на наречии племени махигов. Именно этот диалект он усвоил лучше иных, ведь махиги жили у самого берега и были многочисленны.

– Повтори на своем языке, – недоуменно попросила женщина. – Я сначала была зла. Но я поняла: ты все путаешь. Вы, бледные, думаете в тумане, лжете по ошибке, слова путаете, вот. Ты назвал себя мавиви, совсем ложь.

Рейм кивнул и гораздо более уверенно повторил слова: ведь решение уже принято и не вызывает внутренних противоречий. Он действительно готов защищать и, пожалуй, пойдет до самого конца, даже не имея надежды...

– Мавиви совсем не то что врач, – сообщила женщина. – Но все другое ты сказал хорошо, вот. Не знаю, насколько большую глупость я делаю. Не знаю, что она даст зеленому миру, добро или зло. Я верю тебе, хоть ты сильно бледный. Совсем. Не воин, вот. Тоже так.

Женщина нахмурилась, шипя и охая, снова попыталась повернуть голову или хотя бы удержать ее приподнятой. Побледнела и сдалась, прикрыв веки. Некоторое время молчала, обдумывая свое, непонятное. Надо полагать – план невозможного спасения...

– Ты веришь в вашего бога, держащего чашу света? – неожиданно уточнила она.

– Нет, в общем-то, я скорее...

– Плохо. Всякая вера хорошо, нет веры – плохо... сейчас. Я дам тебе то, что хотели иметь машириги. То, что мы, мавиви, редко даем даже самым верным ранвам. Дам, если смогу в таком вот бессилии, да. Если ты примешь и осознаешь в безверии. Просить ариха не могу, он теперь далеко, трудно звать. И он очень сильный, он сожрет тебя, вот. Звать асари бесполезно, ты чужой, ты не слышать несказанных слов, тут дождь, шум... Асари поможет тебе быть с асхи. Это очень сильное два вместе...

– Сочетание, – подсказал Рёйм.

– Сочетание, так. Сильное, но не так тяжело оно и больно не так для неготового, бледного нового ранвы.

– Бред, – осторожно предположил Рёйм. – Я уже не понимаю ни единого слова.

– Я мавиви, могу дать ранве полноту обретения родства с неявленным, с духами, – пояснила, а точнее, еще более запутала женщина. – Не совсем, только на время. Если они примут родство с бледным, если сила не вытеснит разум, не угасит волю. Вот так, мы будем иметь надежду. Если я правая, ты не будешь опасный для зеленого мира. Мне не придется тебя убить.

Рёйм потряс головой и еще раз шепнул себе под нос:

– Бред, горячечный...

Теперь он уже не сомневался: попытки оптио подточили рассудок женщины и ввергли ее в пучину суеверий. Надежда выжить самому и спасти несчастную, невесту с чего возникающая и согревавшая душу, сгинула, растворилась в сумерках уже близкого вечера.

– Положи мои руки ладонями вверх. Прижми свои ладони, – велела женщина. – Нагнись, еще. Низко, вот так. Смотри в глаза. Не думать, не сомневаться, я мавиви, я имею опыт.

Пусть исполнение указаний бессмысленно, но когда просят и так смотрят, когда есть ощущение, что в тебя верят и ты – защитник... Рёйм с долей смущения усмехнулся. Кто еще бредит! Ему под сорок, а верить в подателя чаши света он перестал ребенком. Помнится, пришел однажды тайком в полутемный тихий храм. Никого не было рядом. Он прокрался к чаше. Озираясь и вжимая голову в плечи от каждого шороха, уложил в золотое полушарие мешочек с самым ценным, нельзя ведь просить и отдаривать за просьбу безделицей. Под грубой тканью позвякивали – они и теперь памятливы – три солдатики, деревянная фигурка коня и настоящая жемчужина, которую он сам добыл из ракушки. Речная, мелкая и тусклая, но как он ею гордился...

– Вот, возьми, – шепнул он богу, зажмурив глаза и представляя высшее существо таким, каким оно было изображено на картинке в маминой комнате. – И сделай меня хоть немножко покрупнее и посильнее.

Он ушел из храма с легкой душой, чувствуя себя способным летать и ожидая скорых перемен к лучшему. Но всего в жизни пришлось добиваться самому, вопреки невеликому росту и столь же невпечатляющей силе... Потеря жемчужины и драгоценных солдатиков осталась почему-то самой детской и самой памятной болью, отметившей утрату причастности к чуду...

Рейм сплел пальцы с тонкими бессильными пальцами мавиви, нагнулся над ней и улыбнулся. Может статься, он исполнил просьбу только потому, что удивительно приятно смотреть в глаза этой дикарки и находить там, в темно-синей глубине, свое отражение, похожее на неисполненную «добрым боженькой» мечту: быть защитником, сильным и надежным человеком. Пожалуй, даже последней надеждой.

– Мое имя Шеула, – едва слышно шепнула женщина. – Я открываю для тебя, кого назвала ранвой, врата обретения силы асхи и помощи асари. Смотри в глаза и слушай большой дождь. Внимательно слушай, он говорит только с тобой, ранва Рейм.

Новая молния полыхнула, отразившись в глубине глаз мавиви. Капли зависли в воздухе, подобные жемчужинам, светящиеся, напоенные синеватыми бликами вспышки. Мгновение растянулось и смутно продлилось, а потом дождь рухнул вниз, тяжелый, темный, упорный. Одна за другой капли, помнящие сияние, застучали по спине, плечам, столешнице, скатились по коже Шеулы, лаская ее и снимая боль... Сердце болезненно дрогнуло, и показалось, что можно чувствовать путь каждой капли, словно водой этого дождя он сам обнимает тело больной. И ощущает его, теплое и беспомощное, и гладит, обещая спасение и здоровье. Тепло накопилось в пальцах и стало заполнять тело, а он все смотрел в безмерную глубину глаз и не мог вынырнуть из этого омута... Да и не желал.

– Обычно ранва, если имеет обретение, думает о врагах, о великой битве и славе победы, – с долей насмешки сообщила женщина. – Часто так сильно думает, что забывает мавиви, забывает клятву оберегать мавиви... на время забывает. Сначала, если идет большая волна обретения. Ты странный. Мне даже жарко, не надо меня обнимать и поклоняться.

– Поклоняться? – задумался Рейм. – Пожалуй. Только это не я странный, а дождь. Я бы никогда не сказал вслух столь красивой и чужой женщине, что она мне нравится, но под стук капель невеста что выговаривается с легкостью... Я никому не позволю причинить тебе боль, Шеула. Не знаю, как, я всего лишь врач и ничуть не воин, но я обещаю совершенно серьезно.

– Ничуть не воин, что вот так и неплохо. – Женщина попробовала улыбнуться. – Асхи хорошо соединяется с ранвой, совсем хорошо. Не ждала так, думала – хуже... Сила воды редко говорит воинам. Слушай ее и меня. Я мавиви, я разделяю и соединяю миры людей и духов. Я могу видеть свод всех сил мира и должна не нарушать свод, крепкий. Совсем наоборот, выправлять их висари... не знаю ваше слово. Но я могу дать всю силу одного духа ранве, могу разрешить ранве нарушать висари, если так надо, если беда. Твоя сила – асхи.

– Дождь? – уточнил Рейм, не надеясь разобраться и все же не смея выражать свои сомнения.

– И дождь, и так, и другое... Роса. Туман. Облако. Море. Много всего, много, разное, но дух один. Асхи течет в крови, асхи дает жизнь для тела. Асхи поит листья и будит почки. Асхи разрушает камни, хоронит мертвое дерево.

– Если попробовать совместить с почитаемым мною «Кодексом врачевания»... – задумался Рейм. – Есть первоосновы сил, изучаемых врачевателями, они сухость и влажность, жар и холод. Неравновесие их и...

Мавиви вздохнула и прикрыла веки. Видимо, ей показалось очень сложным добиться понимания. Или она вспомнила о том, как близок закат? Рейм виновато смолк.

– Ты умный, но сила не умом сыта, нет. Дать ей надо *вимти*...

– Вдохновение, – предложил свой перевод врач. – Хорошо, я стараюсь. Слушаю дождь и пробую вдохновиться.

– Не пробуй. Просто слушай. Сначала у тебя получилось, вот, – посетовала мавиви с грустью. – Но ты стал так думать и мало сердце слушать...

Рейм сел на край стола, ладонями согнал влагу с лица и замер, закинув голову и подставив кожу новым каплям. Мало слушать! Наоборот, много. Он в суеверия впал и почти

дошел до безумия, он утратил способность оставаться собой! Шепот дождя ширился, раздвигая пределы доступного восприятию.

Сердце Шеулы бьется почти ровно, ей уже лучше, боль ее не донимает больше, как и озноб. Нет, не надо о ней – слишком близко и снова похоже на поклонение... Да если бы он знал лишь о состоянии здоровья женщины! Было очевидным и несомненным вовсе немыслимое: непонятным образом он прослеживал, как от берега отвалила шлюпка и идет к кораблю. Не к этому кораблю, а к стоящему правее, к малой шхуне. В шлюпке шестеро гребцов, ветер зло бьет в корму, слизывает кровь только что убитого оленя, соленую и теплую... Огромная, в три человеческих роста, акула ощутила вкус крови. Теперь она, лениво выгибаясь в движении, подобном танцу, поднимается из холодных глубин к шлюпке. Корпус флагманского корабля ворочается, мокрые якорные канаты стонут, натужно кряхтят... правый, впереди, имеет незначительное повреждение, которое может быстро привести к обрыву, – волна косо лупит в борт, хлестко. На палубе флагмана, над головой, хоть и через один ярус отсюда, орет, надсаживая глотку, боцман. Когда адмирал пьян до неподвижности, и другим не грех хлебнуть лишнего. Мокрое искаженное лицо боцмана так понятно, до малой складочки, капли стекают с коротких ресниц, оставляя немного невнятными лишь тени под бровями... Боцман выпил многовато, горячая влага толчками бьется в его вздувшихся жилах, глушит остатки рассудка...

Рейм вздрогнул. Постигнув боцмана, он обрел способность – точнее, нащупал ее, давно существующую, – слушать все биения и даже узнавать многие. Ему ли, врачу, не помнить пульс его благодати! Укус не пошел на пользу, того и гляди кровопускание потребуется уже на рассвете.

– Теперь хорошо слышать, – похвалила Шеула.

– Этого не может быть! Это невозможно...

– Пусть так, неважно. Принял первое невозможно, прими второе. Ты можешь менять. Я разрешила, да. Я соединила, асхи тебя слышит. Нет, другое слово – слушает, вот так! Она тебя слушает.

– Слушается?

– Вот, правильно, понял! Слушается. Я сказала, и он... она? Не знаю. Она так делает. Не всегда, но теперь, пока... вот теперь, асхи – твоя сила, я разрешаю: бери силу, меняй, пользуй, вот так можно и нужно. В том есть обретение. Я рада, мы успеть все делать до заката.

Рейм небрежно шевельнул головой, и вода послушно сбегала, оставляя волосы почти сухими. Снова мелькнула навязчивая мысль: все происходящее – горячечный бред. Ну и пусть... Врач огляделся, рассмеялся, ощущая незнакомую легкость в теле, подобную той, что сопутствует приятному умеренному опьянению. Пьяным море по колено? Для других это лишь слова, а для него теперь – кто знает. Врач бережно закутал тело женщины в ткань, а поверх – в свою только что скинутую с плеч короткую куртку, еще хранящую тепло.

– Теперь ранва уверен, вот так... Уверен, понял: вот мы выберемся, – отметила Шеула.

– И недоумеваю, почему ты попала в плен, – отозвался Рейм.

– Мавиви чтит висари, нарушать грубо не могу. Нарушать могу разрешить ранве, кто меня охраняет, – пояснила женщина сразу и охотно. – Но сама могу много, если я здоровая, если сильная. Только они были хитрые... Они ловили, стреляли, потом ломали спину. Потом совсем плохо, вот. Они знали вред для мавиви от смерти живого из леса, они завернуть меня в шкуру мертвого зверя. Больно, сил нет... Совсем плохо, огня нет. В ярости могу просто звать ариха... Тут арих слабый, много воды, берега далеко, дождь.

– Орден менторов много о вас выведал...

– Не так, нет. Машриги хотели знать мало, они хотели вот так: иметь силу, владеть бешеным огнем. Знали они больше... если знали...

– Если бы знали...

– Да, вот: если бы знали больше, не допустили такой большой ошибки, как ты. Ты ранва. Ты меня спасешь.

Мавиви улыбнулась, врач ощущал это всей влагой дождя на лице женщины, всем током крови в близких к коже сосудах. По возможности бережно он поднял Шеулу на руки и медленно, осторожно понес к двери каюты. По сухому полу идти было неудобно, он не ощущался, не ощупывался пальцами дождя, и это уже казалось странным... К хорошему привыкают быстро.

Переключатель запора звякнула, когда Рёйм уже приблизился к выходу вплотную. Оптио резко распахнул дверь. Еще двое из темноты коридора молча и тихо нацелили в каюту мушкетеры. Собственно, только рыжие звездочки тлеющих фитилей Рёйм и смог рассмотреть глазами, зато он давно и уверенно ощущал людей иным способом, еще от середины каюты. Причинять большого вреда он не желал, помня врачебную клятву... но полагал возможным обойтись и малым. Мавиви сухо и коротко рассмеялась, оба фитиля полыхнули и рассыпались в пепел. Все три оптио вскрикнули разом, вскинули руки к лицу и осели на пол.

– Почему не убил? – удивилась мавиви. – Вот такие мертвые люди, негодные, плохие внутри. Головешки. Пни горелые. Пададь.

– А как же висари? – напомнил Рёйм.

– Они делали мне боль, много боли, они были плохие, пугали, – почти всхлипнула женщина. – День и ночь и день я здесь, я так слаба теперь, вот, я не имею совсем желание жить... Я не могу радоваться свету дня!

– И они не смогут. Именно глаза пострадали, – виновато признал врач. – Я мог бы их вылечить, пожалуй. Сперва медовые капли и жирный сок клещевины, затем примочки из листьев...

– Ты совсем-совсем не воин, – развеселилась мавиви. – Лечить врагов, какие хотят убить, – такое не глупость. Вовсе нет моего понимания.

Врач миновал каюту ментора, мельком глянув на самого опасного, пожалуй, человека во всей эскадре, сейчас беспомощно хрипящего и рвущего ворот. Вот уж точно – жаба душит, грудная, тяжелый приступ. Что бы ни говорила мавиви, «Кодекс врачевания» позволяет неплохо приспособить силу асхи для нужд побега. Заболевания влаги и холода обостряются почти без вмешательства. Точнее, влага так стремительно выходит из равновесного с прочими началами состояния, что главное – не просить слишком о многом загадочную силу асхи, все более проникаясь опасливым уважением к ее могуществу и многогранности...

Еще один оптио мучительно закашлялся, осел на ковер, и Рёйм ловко вильнул в сторону, обогнул его, бьющегося в припадке, исходящего пеной... Еще дверь, теперь вперед, до лестницы. Пусто, как удачно! Миновать темный тесный коридор удалось быстро, шипя и ругаясь по возможности тихо, когда очередной раз что-то попадалось под ноги или неразличимая в темноте переборка толкала в плечо. Винт всхода на верхнюю палубу, снова коридор – и еще одна дверь...

Дождь обнял как родного, принял и спрятал в серой мешанине тугих струй. Рёйм подошел к борту, более не спотыкаясь на скользких досках и не сомневаясь в своей свободе.

– Если я прыгну вниз, я утону?

– Тут глубоко, – согласилась мавиви. – Асхи – сила и возможность, она не мост и корабль.

– Тогда мы возьмем шлюпку. – Опынение не покидало, скорее наоборот.

Рёйм подставил лицо прохладному дождю и улыбнулся. Глупо все, неорганизованно и нелогично... Что делать на берегу ему, именуемому махигами бледным? Он не желал воевать на стороне адмирала и ментора, но вдвойне он не готов сражаться против тагоррийцев и привычной с рождения цивилизации. Едва мавиви доберется до своих, он сделается не

нужен и не интересен даже ей. Благодарность не в счет. Он уже преступник в мире бледных и еще станет изгоем и даже врагом в мире смуглых... Так почему же хочется петь, словно добрый боженька наконец-то исполнил самое заветное желание и, более того, подарил чашу света? Вот она, без сил и возможности самостоятельно двигаться лежит на руках... живая, лучше любых суеверий и гораздо дороже. Шеулу пришлось ненадолго устроить возле борта, чтобы спустить на воду самую маленькую шлюпку. Он бросил веревочную лестницу и, снова подхватив драгоценную ношу, неловко и медленно пополз по качающимся ступеням вдоль мокрого, пахнущего гнилым мхом борта.

Когда корабль остался далеко позади, врач позволил ненадежному якорному канату лопнуть. Флагман вздрогнул и тяжело повел бортами, кряхтя и опасно ворочаясь в темной воде. На палубе закричали, взревел во всю силу глотки быстро трезвеющий боцман, мелькнули пятна фонарей. Рэйм усмехнулся: теперь работы всем хватит до рассвета. И раньше этого часа ментору погони не затеять, точно. Прежде восхода солнца он едва ли преодолеет приступ, так еще точнее.

Волна вынесла лодку далеко на отмель и отхлынула, плеснув напоследок шумно, прощально. Рэйм подхватил мавиви на руки и побрел в сторону темного близкого леса, подставляющего ночному дождю лапы ветвей и радостно впитывающему влагу. Движение соков звенело в стволах, листья расправлялись и избавлялись от пыли... А в гудящей голове копилась тяжелая усталость.

– Надо еще немного идти, – виновато вздохнула Шеула. – До оврага, вниз по склону и опять вверх. Еще раз вниз, еще раз вверх. Там хорошее место, я знаю, лес так говорит. Тебе асхи помогает. Вот. Корень вывернут, под ним яма. Пещера, так?

– Если большая яма, то да, пещера...

– Я хорошо знаю ваш язык! Пещера... Там будет спокойно. Обещаю.

Молча кивнув, Рэйм побрел дальше. Дождь стекал по спине и пытался поделиться силой, ободрить и освежить, но даже он не мог сделать опытным ходокom врача, привыкшего сидеть и писать словари. После второго оврага Рэйм так выбился из сил, что уже не видел ни деревьев, ни пещеры, ни даже лица Шеулы. Он уложил женщину прямо в куртке и свертке ткани на землю, сухую и оттого невидимую – потому что сила асхи не могла ощутить сполна поверхность и подсказать, посоветовать. Сам Рэйм упал рядом, провалившись в небытие переутомления скорее, чем голова коснулась земли...

Когда Рэйм очнулся, он осознал то, что было давно известно адмиралу. За состояние легкости и радости опьянения платят муками похмелья. За восторг обретения силы рассчитываются сходным образом. Тело непослушное и чужое, голова раскалывается от тянущей и гудящей боли. Зато память свежа, и вчерашние поступки вызывают мучительное недоумение, смешанное с сомнением. Вот сейчас он откроет глаза и окажется лежащим на узкой койке в своей каюте. И осознает, что испытал всего лишь приступ бреда...

– Вы, бледные, смешные: вы нежные, от себя беззащитные, – едва слышно шепнула Шеула, старательно выговаривая слова.

И проклятущая головная боль сгинула, как тень случайного облака... Рэйм улыбнулся, потянулся, хрустя суставами и шипя от боли в мышцах. Как же хорошо, что не бред. Можно сжать пальцы на узком, но крепком запястье мавиви и убедиться: не приснилась. Живая, рядом, цела. Врач нехотя и медленно, опираясь на локти, попытался приподняться, затем заставил себя сесть и оглядеться. Низкое солнышко подпирало стволы косыми колоннами зримого плотного света. Крыльями бабочек трепетали листья всех оттенков, он прежде и не обращал внимания, сколь разнообразна зелень. По склону оврага курчавым толстым ковром стлался кустарник, поднимался до самой пещерки и ловко прятал от взглядов вход, оставляя достаточно света. Шеула лежала точно так, как он вчера ее оставил, – на спине, не особенно удобно и ровно, под правым плечом камень, голова откинута и повернута влево, наверняка

шея затекла. К тому же он во сне не отпускал правую руку мавиви и, судя по всему, порой тянул к себе – вон как в локте выпрямлена, даже глянуть неловко.

– Утро, – вслух подумал Рёйм. – Шеула, я очень глупый и смешной бледный, ты права. Вчера я думал: как жить на берегу и что скажут твои родичи... А теперь в голову лезут мысли куда более сложные. У меня нет ножа. Я позорно бросил даже саквояж с инструментом. Я не умею охотиться и не знаю леса. Как мне доставить тебя к твоему народу живой, не умирающей от голода? Как нам спастись от погони?

Мавиви рассмеялась, так мягко и тихо, что на душе сделалось теплее: значит, не сердится и не находит его опасения оправданными. Уже хорошо. Рёйм разместил женщину поудобнее, убрал из-под ее плеча камень и снова завладел рукой, оправдывая такое поведение необходимостью учесть пульс.

– Ни одна мавиви не имела такого славного ранву, – гордо и совершенно серьезно сказала Шеула. – Ты не отличаешь вечер от утра, смешно... но не плохо, опыт придет. Ты глух и слаб: ты спал и не слышал, что здесь, внизу, в овраге, шли люди, много, с оружием. Не страшно, ты научишься слышать, я знаю. Ты охотиться не умеешь, ты лесу чужой, вот... Не думай, все мелкости.

– Мелочи?

– Да! – Женщина рассмеялась, радуясь пониманию и старательно, без спешки выговаривая слова, наверняка заранее приготовленные и обдуманые. – Ты не слабый. Ты упрямый, хорошее слово! Ты всегда нес кожаный мешок, нес, не бросил. Устал, совсем устал, не помнишь? Если устал, вот так – и не бросил, ты врач! Мешок, я думаю – сакоййяш, да? Ты один такой ранва, проснулся слабый, без асхи, но нет жалости о силе. Ты один, кто не брал силу – убивать, не нарушил главный поток, не делал волнение и беспорядок в мире... Ты поклоняешься мне теперь, когда я больна и слаба. Есть ранвы, они думают: буду брать силу мавиви, я главный. Мне спокойно с тобой, легко. Я тебе поклоняюсь. Вот. Совсем поклоняюсь, Рёйм. Внутри. Душой, да?

Рёйм перестал тупо рассматривать саквояж, действительно лежащий в дальнем темном углу пещеры, явно брошенный туда им самим. Неважно. Теперь – важно. Он осторожно повернулся к Шеуле, склонился над ней, заглядывая в ночную синеву глаз. Если бы вчера кто-то сказал ему, немолодому человеку с посредственной внешностью, без достатка, имени и знакомств: самая красивая женщина этого берега будет тебе поклоняться... Он бы и смеяться не стал. Какой смысл потакать злым издевкам? Вчера собственная жизнь казалась понятной и удручающе серой до последнего дня: выжить в гнилом чреве корабля, рядом с ядовитейшим ментором, вернуться в окрестности университета, оплатить взнос в гильдию и получить врачебную практику. Потолковать с кем следует и подобрать вдовушку, не особенно старую, умеющую вкусно готовить и экономно вести хозяйство... Тоска и обреченность была в тех планах, а вот возможности выбора – не оставалось. Грядущие заранее определенные дела казались оковами, из которых нет избавления на каторге жизни.

Но он осмелился на побег – и теперь сидит в лесу, в пещере с голым земляным полом. Голодный, замерзший, обессиленный – и свободный...

Осторожно убрав с лица Шеулы прядь волос, Рёйм кончиками пальцев тронул кожу на щеке, гладкую, ставшую бронзовой от румянца. Красивой женщине, осознающей свою красоту, нетрудно с улыбкой отметить очевидное: да, и он, бледный ранва, ей поклоняется, как многие иные. Ей не могли не поклоняться самые сильные и славные воины здешнего народа. Они смотрели на Шеулу, мавиви и красавицу, и смели лишь молча поклоняться – искренне, глубоко и безнадежно.

– Чем же я лучше воинов твоего народа, мавиви? – едва выговаривая слова, спросил врач. – Я не умею жить в лесу, и меня не примет твой народ, я бледный...

– Ты добрый, – серьезно сказала Шеула, моргая и бронзовея щеками еще ярче. – И ты поклоняешься мне. Другие видят силу, поклоняются асхи, асари, ариху и амат... и потом вот, совсем потом, мало-мало – мне. Я мавиви, я вижу: твоя душа открыта. Красивая душа. Совсем красивая, вот... Я поклоняюсь, и мне хорошо. Камень мешал ночью, только было не больно, хорошо. Нет злости на тебя, на камень. Я лежала, думала. Все поняла. Будет утро, я посмотрю на ранву и вовсе решу.

– Что решишь?

– Решила, все! Нельзя идти туда, к воинам. Я слабая, меня не будут слушать. Скажут: мавиви плохо, Шеула неумная.

– О да, горячечный бред, – согласился врач.

– Бред, так они будут думать... – вздохнула мавиви. – Ты бледный. Они будут убивать. Долго. Я думала и знаю: я не могу смотреть. Дам силу асхи, тебе дам. Плохо... Они убьют ранву, их много, ты не воин, не знаешь смерть. Ты будешь мертвый сам, я поняла. Стало совсем плохо. Значит, поклоняюсь... Мы не идем в племя. Здесь лес. Здесь я решаю, что такое правильный закон. Ты будешь меня лечить. Когда мавиви сильная, все вожди не скажут против. Они признают тебя.

– ...«они признают тебя», – тихо шепнула Шеула, внучка упрямой мавиви прошлого. – Так сказала бабушка. И она добилась бы своего, только на лечение ушел полный год. Трудный год. Мой дед тогда совсем плохо понимал лес, да и прятаться им приходилось и от бледных, и от смуглых. От всех! Когда бабушка начала сама ходить и ноги ее окрепли, снова понадобилось много времени, чтобы разбираться, что происходит в лесу и как далеко зашла война. Дед однажды проговорился: они шли по следу боев до самого берега. Бабушка лечила лес, и поэтому двигались медленно. Они были рядом, когда отгремел последний большой бой, когда погибли вождь Ичива и оберегаемая им мавиви Лакна. Я спросила: как это было и почему они не вмешались? Мне обещали рассказать все, когда я стану взрослая, в шестнадцать лет. И ушли, не рассказав. Не успели...

Мавиви поникла, жалобно глядя на своего нового дедушку – Магура. Старый махиг обнял ее за плечи, погладил по голове. Шеула улыбнулась, прижимаясь щекой к темной бронзе кожи махига. Когда рядом есть старшие, легко быть ребенком. И только утратив стариков, запоздало удается осознать, как же это хорошо и ценно – иметь возможность оставаться ребенком.

– Почему твоя бабушка не вышла к нам позже? – спросил Магур.

– Она обещала рассказать, – снова пожаловалась Шеула. – Но я и так догадываюсь. Сначала она была слаба, потом родился мой отец и на какое-то время стало не до чего. А еще позже... Тогда уже возник закон, объявивший бледных не людьми. Бабушка долго искала других мавиви, она надеялась, что еще кто-то уцелел. Или что новые обладатели единых душ придут к ней, ведь дар далеко не всегда наследуется через кровное родство. Пока дед и бабушка искали, стало явным новое зло. И бабушка отвернулась от людей леса, не простила им предательства. То есть она помогала, но не сообщала о себе.

– Наставник, – тихо и сосредоточенно молвил Магур. – Тот, кто сжег души шести моих учеников, и кого мы, махики, посмели счесть равным мавиви.

– Да, он, – согласилась Шеула. – Бабушка много раз просила деда пойти и навести порядок. Только он врач, он так и не научился убивать для пользы. В последние годы дед и бабушка совсем срослись... Сила асхи и асари благоволила Рёйму, а бабушка вспыхивала и хмурилась, пытаясь уравновесить ариха и амат. В общем, бабушка уже не могла назвать деда своим ранвой, они вместе были мавиви, двое сразу. И они решили, что принадлежат прошлому, а судьбу наставника и ошибки людей леса должны решать те, кто придет после них. Чтобы не копить обиды и не мстить, но искать путь вперед.

Шеула покосилась на Ичивари, нагнулась к костру, разгребла угли и добыла готовую рыбу в корке из глины. Положила на плоский камень и снова сгребла угли поудобнее. Хихикнула, довольная тем, как сын вождя восхищается ее умением общаться с огнем. Ичивари оббил глину и подал рыбу на листьях – сперва деду Магуру, затем мавиви и в последнюю очередь взял остатки себе.

– Как твой бледный дед не умер в лесу от голода, – с долей самодовольства буркнул сын вождя. – Он и рыбу добыть не умел, пожалуй.

Мавиви поймала в ладонь уголек, сжала – и сдула пепел. С сомнением покосилась на рыбу, но есть все же стала.

– Два-три уголька дают столько же силы, сколько одна мелкая рыбина, – негромко сказала мавиви. – Я могу стать сытой по-разному. Напрямую принимая малый дар духов или же получая его через воплощенное, годное в пищу. – Шеула подвинулась опять поближе к Магуру. – Мой новый дедушка... как хорошо!

– Твой новый дедушка хотел бы большего, – задумчиво проговорил Магур. – Тебе нужен ранва. Я еще не так стар, чтобы не годиться в защитники мавиви. А ты слишком мала, чтобы полагаться на себя и обходиться без ранвы. И хоть я и принадлежу прошлому, я желал бы навестить наставника и прекратить беззаконие, творимое им. Пока не стало совсем поздно и он не добрался сперва до души моего Чара, а затем и до места вождя махигов. Твоя бабушка могла не понимать, как отравляет яд бледных, именуемый властью... Но я научился новому и вижу это.

– Без наставника мы не сможем одолеть бледных, когда из-за моря явится новый их корабль, – забеспокоился Ичивари, потом покосился на мавиви и виновато дернул плечом.

– Горячечный бред! – вскинулась мавиви. Потерлась щекой о плечо деда. – У меня теперь есть лучший на всем свете ранва, наш дедушка Магур. Мы пойдем к наставнику, если таков его совет.

– А ты, Чар, отправишься к отцу, – непререкаемо молвил дед. – Покажешь Слезу Плачущей и пояснишь, что разделение души и прочие глупости ей не угодны. Имя Шеулы и само ее существование пока не станешь раскрывать.

Ичивари поежился, представив бешенство отца и обреченные тихие слезы матери... Но возражать не стал. Коротко поклонился деду. Тот лукаво блеснул глазами, подмигнул мавиви:

– Безусловно, вождь будет очень зол. Ужасно зол. Он наговорит невесть чего, накажет Чара, потребует отослать гонца к наставнику, оповестить людей степи... и сделает еще много разного. Потом он закроет дверь своей комнаты, плотно занавесит окно. Погасит свет и без малейшего шума станет прыгать от радости и даже, может быть, уронит одну-две слезы. Он любит Чара. И он знает, что обряд разделения лишит его сына. Только выбора нет, так кажется сильному, но безнадежно отравленному логикой вождю махигов. Очень трудно быть сыном великого вождя Ичивы. Он боится оказаться слабым. И перед лицом бледных, и тем более – перед советом стариков. Трудно нести на плечах бремя чужой славы... и чужих ошибок.

Глава 3

Деревья одного леса душ

«Непонимание наше с бледными с самой первой встречи было, как я теперь полагаю, исключительным и всеобъемлющим. Его основу я вижу в некоторых важнейших опорах и ценностях, традициях и устоях. И первой пропастью, не получившей моста и разделившей нас, назову веру. Мы, люди леса, привыкли к тому, что в разных племенах духам поют разные песни и исполняют несхожие обряды. Мы по ошибке сочли Дарующего еще одним воплощением привычного и не восстали против него, решив: почему бы бледным не петь иначе? Мы не увидели в чужой вере ничего враждебного. Хуже того: не смогли взглянуть на себя и свою веру глазами бледных. Мы даже не пытались это сделать, да и не имели должных знаний и опыта размышлений и сравнения... Мы не ведали того, что бледные именуют философией, склонностью рассуждать о дальнем, умозрительном, почти столь же туманном, как мир неявленного».

Для нас стволем важнейшего всегда было выживание племени, наш разум спал, наблюдая смену сезонов и следуя ей безотчетно. Мы не искали нового: не ковали железа, не производили пороха, не знали даже колеса. Но души наши вырастали в живом наблюдении за лесом и в великой любви к зеленому миру. Мы не знали слова «вера», и обряды наши были всего лишь праздником сезонного круга, они не позволяли тем, кто общается с духами, добраться до власти и встать рядом с вождем, а то и выше вождя. Мы не умели говорить от имени богов и, прикрываясь их волей, миловать, карать, судить».

Мир бледных – машина. Даже вера в нем – машина, состоящая из шестеренок традиций и приводов обязанностей. Она гнет непокорных и ломает даже самые крепкие деревья душ, хотя должна взращивать их и наполнять жизнью. Вера бледных не приемлет соседства иных воззрений. Несущие ее нам в грохоте выстрелов и пороховой гари воины не искали понимания. Они добивались отказа от зеленого мира и полного подчинения тому, кого именуют Дарующим. Именем его оправдывали самую тяжкую несправедливость и самую большую кровь».

Но я, человек зеленого мира, не нахожу в своей душе озлобления против неведомого бога. Мне жаль его. Как отцу, пережившему утрату детей, жаль... Убивая нас, бледные губили остатки живого и лучшего в себе, обрекая Плачущую своего мира ронять бесчисленное число черных Слез. Они делали стену между мирами явленного и неявленного все толще, устрняя возможность рождения тех, кто наделен даром мавиви».

Но и мы неспроста лишились тех, кто обладает единой душой. И вряд ли обретем надежду прежде, чем завершим войну в душах своих и примем, как это ни странно, один из заветов бога бледных – умение прощать. Я долго не понимал этого несправедливого во многом закона, но долгие годы общения с Джанори научили меня размышлять без заведомого отторжения. Всматриваясь в его душу, я осознал: прощение всегда было присуще нам, пусть и облеченное в иную форму – допущения иных воззрений и мирного соседства, пожалуй. Не всем оно

было близким и понятным, но мавиви его ведали и принимали, числя частью висари, я уверен».

(Из дневников Магура, вождя вождей)

Возвращаться домой оказалось трудно. Он, сын вождя, нашел мавиви! Его дед теперь ранва! Он знает, что наставник злодей и враг живого леса! Он был в долине Плачущих Ив и слушал их шелест всю ночь, и душа пела, и мир отзывался... Он сидел у костра рядом с Шеулой, самым удивительным существом и очень родным, пусть и знакомы они недавно.

Столько всего произошло! Столько важного, бурно кипящего под крышкой обещания хранить тайну, обжигающую своей невысказанностью и мучительную... Как молчать? Почему? И угораздило же дать слово самой мавиви, да еще деду заодно.

Ичивари поник, хлопнул по шее верного Шагари. Пегий фыркнул и задышал, утыкаясь в шею горячим носом. Он видел душевные метания друга, с ним одним и можно обсуждать события, не таясь. Увы, даже самые умные священные пегие жеребцы не способны разговаривать...

– Опять мы с тобой одни, – грустно сказал Ичивари. – Ты уж поровнее ставь белую ногу. Мне знаешь, как сильно требуется удача? И не фыркай! Пусть суеверие. А только как подумаю, что скоро отцу рассказывать... и врать... Ладно, недоговаривать. Значит, шли мы с тобой. Шли... и дальше надо пояснить, почему мы не дошли туда, куда нас послали.

Шагари потянулся к сочному побегу, скусил верхушку и захрустел зеленью. Его ничуть не беспокоили сложности разговора с вождем. В поселке хорошо: есть конюшня, вдобавок к траве выдают зерно. Еще у священного жеребца имеется свой небольшой табун, три кобылицы и два жеребенка. Если повезет, найдутся и незнакомые кони. На них можно налететь и вцепиться в шею, доказать, кто самый сильный, и безжалостно отметить чужую шкуру ударом задних копыт... А еще есть дети людей: они пробираются к конюшне тайком, когда туман забелит и укутает луг. Дети приносят батар, иногда еще сочную морковку и сладкую свеклу – их привезли на этот берег бледные, как и самих коней.

Сумерки грели ладони туч над углями заката, уже тусклыми, остывающими. Сумерки тянули на плечи древесных крон темный пух теней, давая знак дневным птицам ко сну и выпуская в полет ночных... Лес глядел на пегого коня сотнями любопытных глаз. Даже пара тускло-зеленых волчьих блеснула и угасла. Зверь видел сына леса и чуял его, сильного и уверенного махига, идущего по знакомой тропе. Видел – и без спора уступал дорогу. Лето, корма много. Да и поселок людей совсем близко.

Место было памятное. Вот здесь, на пригорке, восемь лет назад нашли мертвого бледного парня. Все шептались и никто не смел сказать вслух то, что знал поселок: кое-кто сошел с ума и дарил цветы и перья юной красавице из семьи достойных махигов... А теперь этот безумец мертв. Вспорот от грудины до паха чем-то острым. Охотники смотрели, и первым высказался отец заплаканной красавицы, не постыдившейся вслух назвать мертвого женихом. Пожилой махиг отвернулся от дочери и нехотя сообщил: мол, слабый из бледного охотник, пошел на оленя один, сам на рог напоролся. Слова упали в общее молчание, как камень в гнилое болото...

Когда родился новый месяц, это болото снова набрякло опасной тишиной. Девушку успели выудить из ручья, но толку от этого оказалось мало: она сидела целыми днями и бессмысленно, слепо глядела в одну точку, чуть покачиваясь и нашептывая про убийц и гнев леса. Бледные волновались, детей перестали отпускать в лес. Спустя неделю пожилой гончар не вернулся к ночи домой, его искали и нашли полумертвого, в синяках и кровоподтеках. Сам бледный испуганно твердил: «Упал, споткнулся, глаза слабые, с кем не бывает?» И все опять слушали и молчали. Потому что нечто подобное действительно приключалось и прежде, но не столь явно, не рядом с жилищем вождя.

А еще несколько дней спустя на этом же самом пригорке нашли двоих мертвых махигов. Ичивари сам звал вождя и старейшин, и он куда лучше прочих в селении знал: дед велел пригласить людей еще тогда, когда шел от селения в лес. Магур не искал следов, он просто двигался напрямик к указанному заранее месту... И он же первым, глядя в глаза старейшинам, заявил: «Совсем взбесился загадочный олень, снова убил двоих. Надо крепко думать, с чем идти в лес. Каждому надо думать, хорош ли он как охотник и ту ли себе выбрал дичь». Все молчали, и только добравшаяся последней девушка, потерявшая бледного жениха, вдруг стала смеяться, да так громко и страшно – Ичивари и теперь помнил мороз, пробирающий до костей от эха ее голоса. С тех пор мимо приметного холма ходили молча, и одни отворачивались, а иные кланялись и виноватым шепотом просили духов даровать людям мир и доброту.

Ичивари прошел по тропе, покосился на холм и попросил у духов здоровья и для деда. Шутка ли, такое исполнить, да одному, да в преклонном возрасте...

Когда ночь зажгла один за другим все самые яркие огоньки звезд, входящих в узоры созвездий, Ичивари шире раздул ноздри, втягивая отчетливый и близкий дух поселка. Даже остановился ненадолго, слушая и внутренне двоясь. Он принадлежал лесу и, как часть его, полагал поселок чужим. Он шел домой и радовался скорой встрече с родными, возможности войти в дом и принадлежать кругу людей. Как не поверить в две души, если эти души рвут тебя напополам? Но мавиви сказала, что душа одна, просто люди сами виноваты, они не могут выбрать правильный способ жизни и эта неопределенность порождает смятение... Ичивари вздохнул, поправил нож, положил руку на шею пегого, который ночью старался двигаться вплотную к боку хозяина.

– Идем, Шагари. Мы справимся, – пообещал себе Ичивари. Встряхнулся, хищно блеснул глазами, оглядываясь, и сказал темноте нарочито громко: – А если ты, наглая морда, еще раз приблизишься к табуну, я сделаю новое седло именно из волчьего меха.

В поселок Ичивари добрался по самой малохожей северной дороге. Торговые в столице махигов – южная и западная – натоптаны и даже имеют следы тележных колес. Здесь – лишь узкая тропка, едва заметная в довольно высокой траве большого луга. Первый укос уже миновал, дожди в лесу секвой обильны, и они уже прилично подрастили щетку свежей зелени. Цветы на этом лугу мельче, чем на диком. Зато их много: словно помня судьбу старших, скошенных по весне, младшие норовят наверстать свое и все же высеять семена... Босым ногам приятен луг: год за годом отсюда убирают камни и коряги, выравнивают ямы, подсыпают землю на склон, спасая его, пусть и невысокий, от угрозы оползней.

Сын вождя ускорил шаг, с некоторым удивлением всматриваясь в темные окна крайних домов и вслушиваясь в тишину, слишком глубокую и полную для большого поселка. Припозднившаяся детвора не играет в охотников и оленей на свежей росе, хотя след ложится так ладно – залюбуешься! Матери не хлопочут возле домов, загоняя птицу и время от времени дежурно и без сердитости выкрикивая имена неслухов, которым уже давно пора спать. А ведь здесь, на северной окраине, чуть поодаль от главной улицы, селятся полукровки и даже бледные. Те, кто получил разрешение вождя, заслужив его или усердием в ремесле, или полезными знаниями, передаваемыми народу махигов.

Ичивари нахмурился, еще раз оглядел дома – и мягким движением вскочил на спину пегого коня, чуть сжал колени, предлагая поспешить. Шагари охотно прынул вперед резвой широкой рысью – и сразу же загарцевал, оседая на круп и смущенно фыркая. Впереди вырос из темноты махиг в полном боевом вооружении, с пером, вплетенным в самый конец косицы и обозначающим то, что ружье заряжено и готово к бою. Значит, в поселке приключилась большая беда...

– У-учи, – буркнул Ичивари привычное – то, чем начинал всякий разговор, требующий спокойствия. – Ясных тебе следов и мирной ночи, Шарва.

– Видно, Шагари сегодня вступил на тропу с белой ноги, – не стал скрывать радость махиг. – Неладно у нас. Твой отец ушел в дом и размышляет, поспеши.

Сказал – и сгинул в ночи, сочтя свои слова достаточными для пояснения происходящего. Ичивари хлопнул коня по шее и снова выслал вперед. «Поспеши!» Хорошенькое дело, друг получил ружье и возомнил себя великим воином в дозоре. Вспомнил старые предания, утверждающие, что говорить надо мало, но уж обязательно – значительным тоном. Ичивари нахмурился сильнее: Шарве восемнадцать, кто выдал ему оружие? В поселке немало старших воинов, опытных и рассудительных. Неужели все они куда-то ушли? Тогда дело и правда серьезное.

Пегий уже щелкал копытами по утоптанной земле главной улицы. Здесь дома высоки. В два, а то и в три этажа. Снизу этаж и фундамент – кое-где каменные, постройки – добротные и красивые. Каждая знакома. Первые три дома в общей ограде – университет, следующие два – малый университет. Это дед Магур придумал так их назвать, пристроив для нужд махигов слово из наречия бледных. Он же настоял, чтобы все дети от пяти лет и до десяти посещали малый университет: учили грамоту, счет, мироустройство. Самых толковых потом отправляют в большой университет. Наставляют в механике, строительстве, врачебном, рудном и кузнечном деле, картографии, физике – хотя о ней бледные мало помнят.

По другой стороне улицы тянется длинный, низкий и темный общий дом, похожий на давние постройки народа махигов: тут решают важные дела, собирают советы. Дальше по правую руку – дом вождя, возле высокого крыльца которого стоят два воина. С ружьями. Шагари сбавил ход и всхрипнул, а затем и остановился. Дальше по улице – конюшня. И напротив – дом деда, уже год нежилой и называемый гордо «библиотека». Оттуда тянет запахом мокрой гари, крыша разобрана, два окна черны от копоти.

Спрыгнув с коня, Ичивари заспешил домой. Еще ни разу в поселке не было пожаров! Дедову затею с бранд-командой, очередным заимствованием слова и рода занятий у бледных, полагали нелепой и старики и воины. Но, кажется, теперь подобного уже никто не скажет. Вся нынешняя дежурная команда – пятеро недорослей, перемазанных в саже и горящихся ожогами, – сидит на заборе перед конюшней.

– Чар, мы все потушили! – не в силах молчать и скрывать чувства, как полагается взрослому мужчине, закричал один из бранд-пажей.

Кто первым придумал так назвать их – даже дед не знает. Бледные хором твердили: неправильно! Тех, кто работает на пожаре, бранд-командами именуют только в стране сакров, а пажи имеются у королевы тагоррийцев, и одно с другим не совмещается... А вот совместилось и так прилипло – не переделать уже. Ичивари подумал обо всем этом мельком, кивая приятелям и взбегая по лестнице на высокое крыльцо. Дверь из цельного сухого дерева, украшенного затейливым узором, подалась как обычно, без скрипа. В темной прихожей пришлось долго топтаться на влажной мешковине, чтобы матери не понадобилось убирать траву и грязь со светлого выскобленного пола. По той же причине Ичивари, неодобрительно морщась, нащупал на полке свои тапки, достал и надел их. Зашлепал в большой зал, шумно и неловко, как распоследний бледный... и замер в арке входа.

Отец сидел у длинного стола. Молча сидел. Неподвижно, сосредоточенно прикрыв веки. По линии губ и складке возле них Ичивари сразу понял: дело окончательно плохо. Хуже вроде некуда... Отец в отчаянии. Трудно поверить, но именно так читается его каменное спокойствие. На столе лежат какие-то обгорелые предметы и отдельно – целые, в свертке. Неровно, с потрескиванием, горит одна слабенькая масляная лампа, тени испуганно трепещут и мечутся по стенам.

– Пап... – начал Ичивари и виновато дернул плечом. – То есть вождь, позвольте мне вступить на порог зала раздумий, нарушая ваше уединение.

Закончив должное приветствие, Ичивари дополнил и усилил его, приложив ладонь к правой душе. Потому что когда у самой руки отца лежит пестрое перо – он не папа, а именно вождь, причем обремененный властью и решающий, настало ли время объявить большой поход. Понять бы, против кого.

Отец вздрогнул и распахнул глаза. На миг лицо стало совсем живым, на нем прочиталась неподдельная радость – и маска покоя снова заняла подобающее место... Вождь глянул на пестрое перо. Бережно погладил его пальцами и убрал со стола. Внимательно изучил волосы сына, всю его фигуру от макушки до пят... Ичивари осознал: дед прав, как обычно. Если бы вождь мог, он бы прямо теперь ушел в свою комнату, запер дверь и прыгал от радости. Но почему? Спросить невозможно: отец снова серьезен и холоден, ждет немедленных объяснений.

– Тут такое дело, – чувствуя себя ужасно и запинаясь, выдал Ичивари. – Шел я, значит, шел... И тут Шагари встал и дальше ни ногой. Я его и так и сая. Даже ветку вырезал и... И стукнул! А потом – вот. Она выкатилась и упала.

Ичивари бережно положил на стол Слезу. Чуть помолчал, гордясь выдержкой отца: даже бровью не повел, хотя в глазах по-прежнему сияет радость, какая-то бешеная, даже нездоровая. Но не перебил. Умеет он слушать. Вождь...

– Я подобрал Слезу, значит. Ну и опять вперед, а Шагари никак. Во-от... Развернулся он, значит, и с белой ноги – домой... Я не посмел возражать. Священный пегий конь, все такое...

Лицо вождя отчетливо напряглось, но отец и с этим справился. Быстро встал, прошел через зал, мимо сына, в прихожую – запер дверь. Он всегда ходил беззвучно. Босиком. Снова скользнул мимо плеча, скрылся во внутренних комнатах, вывел оттуда мать, всхлипывающую и сгорбленную. Ткнул рукой в Ичивари – мол, гляди, явился... Снова увел, почти силой. Запер и эту дверь. Направился к окнам и задернул занавеси. Наконец-то подошел к сыну, коротко сжал его плечи, вздохнул. Снова сел к столу. Шевельнул бровью, обозначая насмешку.

– Эту историю про мудрого священного коня ты повторишь старикам, только выброси «такое дело» и «значит». И добавь важности. Порезе роняй слова, – едва сдерживая ту же непостижимую веселость, посоветовал отец. – За то, что ты нарушил мое указание, я тебя накажу, конечно... позже. Пока что объясни: где знак огня?

– Ну, я...

– К деду пошел, – подсказал вождь, прикрыв веки. – Он сделал то, чем угрожал мне раз десять. Запретил разделение и выбросил знак огня. Это очевидно. Пока что важнее иное: где два твои пера из волос?

– Тут, в поясной сумке... Я вплеl в косицу белые, мне их... Ну, одна девушка подарила, – кое-как выговорил Ичивари самое сложное.

На сей раз вождь не смог сохранить лицо каменным. Обе брови поползли вверх, сминая лоб обыкновенным удивлением, без опасного гнева...

– Еще и девушка? Однако ты быстро бегаешь, и даже плачущий священный конь, спотыкаясь на белую ногу, не способен направить тебя на заданный путь... Ичи, ты еще помнишь хоть что-то про долг сына вождя и прочие мелочи, о каких заботятся старики в общинном доме, а иногда и вождь? Я накажу тебя дважды. Девушка хоть из народа махигов?

– В общем, и да и нет. Скорее из поросли нижних гор. – Ичивари осторожно обрисовал нужную часть родословной Шеулы.

Вождь немного помолчал, возмущенно тряхнул головой: не умеешь врать, так и не берись... Покосился на сына с явной насмешкой, до странности веселой, если не озорной.

– Деда застал в долине Ив? Он хоть не надумал уходить в горы? Теперь только этого и недостает для полноты бедствия... Ясно, не ушел.

Вождь сладко и усердно потянулся, щурясь и глядя на сына с показным неодобрением. Качнул подбородком в сторону свертка и обгорелых предметов.

– Сегодня вечером кто-то поджег библиотеку. Кто-то при этом потерял огниво бледного Томаса. самого Томаса в поселке нет. Зато у него дома в углу кладовой нашлось в окровавленном свертке одно красное перо, очень похожее на то, что ты не вплел вчера в волосы... А еще соседи Томаса сказали: вечером дети видели, как махиги, воины из этого поселка, увели Томаса в лес. – Вождь поднял руку, не давая себя прервать. – В сумерках кто-то стрелял в окно нашего дома. Ружье нашли в хлеву бледного Альма. Его нет дома... Вот пока все, что мы знаем. Еще недавно я полагал, что ты погиб и бледные скрывают нечто крайне опасное, что они, живя в нашей столице на правах свободных соседей, затеяли новую войну... Я готов был начать выселять их, кое-кто сгоряча требовал крови, вот хотя бы двоюродный брат нашей мамы, ты прекрасно знаешь его неприязнь к чужакам. Твое появление меняет многое, а сверх того дает мне возможность избрать для тебя наказание, достойное сына вождя. Пока лучший ученик наставника Арихада с лучшими воинами проверяет все тропы, ты будешь говорить с бледными. Без оружия, Ичи. Иди и голыми руками распутывай их колючую ложь. Таково мое окончательное решение.

Ичивари прижал ладонь к левой душе и склонил голову в знак принятия воли вождя. «Разве это наказание?» – мелькнула мысль, но на удивление уже не осталось сил. Потом сказанное отцом пронеслось в сознании снова – и юноша вздрогнул.

– Все взрослые воины ушли с этим горелым пнем... ох. То есть ну...

– Ты говоришь о воине огня, славном защитнике народа махигов, – вождь снова допустил складку удивления на лоб, – о нашей надежде, ученике Магура, ранвари Утери? И ты называешь его... Ичи, что произошло? Ты где был и с кем общался, кроме плачущего коня и той девушки, которая наверняка родом из поселка бледных близ озера? Ичи, смотри мне в глаза.

– Я ехал к наставнику Арихаду, – с нажимом выговорил сын вождя, упрямый не менее отца. – Мой конь отказался идти дальше, и я хлестнул его. Шагари уронил Слезу, и я вернулся, исполняя волю Плачущей, так сделал бы всякий достойный махиг. Все. Я принимаю налагаемое на меня наказание и спешу исполнить вашу волю, вождь.

Отец некоторое время сидел молча, его лицо непонятно кривилось, и Ичивари не мог понять, гнев это или нечто худшее... Наконец вождь беззвучно встал. Прошел через зал к двери во внутренние комнаты, обернулся, быстрым жестом указал на предметы на столе, не добавляя ни слова. После чего вождь шагнул за дверь и плотно прикрыл ее. Ичивари еще немного постоял, медленно и осторожно выдохнул сквозь стиснутые зубы. И вздрогнул еще раз: ему на миг показалось, что в недрах притихшего дома раздается смех...

Ичивари потоптался еще, повздыхал. Не подходя к столу и не рассматривая лежащие на нем вещи, поднялся в свою комнату, достал из сундука добротную кожаную сумку с жесткой задней стороной: чтобы было удобно писать, когда нет стола. Подумав, сын вождя снял пояс с ножом, положил внутрь сумки листы бумаги, повесил на шею чернильницу-непроливайку. Запасся он и перьями впрок, ощущая себя действительно наказанным: иным-то пороховое оружие выдают, а его удел – пачкать пальцы и трепать языком в бесконечных разговорах. Придется выслушивать сплетни, которые, это всякому ведомо, способны распускать и обсуждать только женщины. Хотелось прихватить что-то если не полезное, то значительное, чтобы не казаться себе ребенком, отправленным на урок в малый университет. Ичивари покосился на крупную лупу в медной оправе, подарок деда. С лупой он бы смотрелся неплохо... Но идти и разговаривать с бледными, имея в руках предмет из адмиральской каюты сгоревшего флагмана флота первой войны... Тем более теперь, после рассказа Шеулы, который окончательно прояснил смысл гравировки на меди – «de Lambra»... он-то прежде думал, что это имя славного мастера. Оказалось – всего лишь пьяного адмирала.

Вещь утратила значительную часть обаяния. Повесив сумку на плечо, Ичивари в последний раз покосился на свой нож и стал спускаться по лестнице в зал, пробуя представить смеющееся лицо отца. Оказывается, он не помнит, когда папа в последний раз улыбался. И от такого открытия становится почему-то больно и плохо на душе. Он не замечал, как тяжело приходится вождю. Всех надо выслушивать и со всеми оставаться ровным... Решать, что считать преступлением, требующим смерти, а что – промашкой, допускающей прощение.

В столице помнят, как двадцать годовых кругов назад вождь Даргуш приказал казнить восемнадцать бледных и десять махигов прямо здесь, в поселке. Об этом старшие обычно вспоминают шепотом: страшно было... Но даже дед признает то решение верным, ведь преступники невесть где раздобыли рецепт зелья, употребление которого не только лишает на время ума, но вызывает привычку. Тогда отец принял еще один закон, который тоже вспоминают опасливо, но с пониманием: всякого, кого заподозрят в питии зелья, доставлять к старикам, допрашивать о способе получения напитка и затем казнить самого и вместе с ним тех, кто произвел напиток... Пятью годами позже, удивив стариков, отец позволил бледным жить свободно и признал их людьми, пусть и с ограниченными правами. Для людей моря и теперь нерушимы ограничения, их довольно много. Нельзя менять один поселок на другой без разрешения вождя. Нельзя углубляться в лес на расстояние больше пяти километров от жилья, нельзя запросто родниться с махигами. Каждый год принимаются какие-то законы. Он, Ичивари, прежде всерьез не задумывался, насколько это сложно. И каково отцу утверждать все решения одному. Ведь его, и только его называют жестоким, безразличным к людям и даже бездушным, как говорят бестолковые сплетники.

А тут еще Шеула с ее обидами! Запретила вождю входить в лес, и отец, конечно, заметил это ограничение. Может, не он один: не зря сегодня воинов в погоню повел ранвари Утери, тот, кто три года назад прошел у наставника церемонию разделения души и стал воином огня... И не случайно он, Ичивари, «наказан» так изобретательно и неожиданно. Просто сам отец занят делами – надо говорить со стариками, надо принимать прошения бледных и удерживать горячих черноволосых недорослей-мстителей от опрометчивых поступков. Отец не наказал, он доверил важное дело: след поджигателей может увести в лес, куда самому вождю дорога закрыта.

– Мавиви тоже ошибаются, – едва слышно произнес расстроенный Ичивари.

Он пообещал себе поговорить с Шеулой при следующей встрече и убедить ее в том, что душа отца жива, а решения его не так уж и плохи...

На столе лежали, дожидаясь внимания, несколько предметов. Обгоревшие остатки переплетов книг, округлый камень, сплюснутая пуля и огниво – видимо, то самое, принадлежащее бледному Томасу. Ичивари завернул все эти вещи в ткань, завязал узлом, пристроил к своей сумке – и покинул дом, с наслаждением освободив ноги от тапок. С крыльца он осмотрел улицу, кивнув двоим воинам с оружием, по-прежнему стоящим у дома вождя. Было бы до неприятного тихо и пусто, если бы не бранд-пажи. Они заполучили в свое распоряжение священного коня, отвели на лужайку перед конюшней, расседлали и теперь дружно чистили. И шумели так, словно ничего плохого в поселке не случилось.

– Чар, иди к нам! – закричал, перекрывая общий гомон, самый крупный и взрослый, Банвас. – Тебя уже никто не ожидал увидеть! Давай рассказывай...

– Вождь Даргуш указал, что я обязан выяснить все по поводу поджога, – выговорил Ичивари, роняя слова степенно и неспешно, совсем как велел отец. Мысленно сын Даргуша представлял зерна, которые по одному бросает в добрую пашню, с должным уважением. – Возможно, мне понадобятся надежные помощники.

– Во всем поселке таких только пятеро, это мы, – возликовал Банвас. – И бледным и махигам велено до особого указания сидеть в своих домах. А мы – бранд-команда и герои.

Вождь разрешил нам в награду за успешное тушение огня ходить по улицам до утра, шуметь как угодно и гордиться собой. Здорово, правда?

Ичивари кивнул. И подумал: «Наверное, тишина показалась мучительной отцу, внезапно оказавшемуся наедине с отчаянием. Окровавленное перо – знак большой беды...» Не позволяя себе отвлекаться на посторонние размышления, сын вождя сел на толстую жердь забора перед конюшней. Он заправил тонкий хвостик косицы с новыми перьями, мысленно улыбнулся Шеуле, благодаря за подарок, и решительно добыл лист бумаги. Покосившись на бренд-пажей и сохраняя важный вид, Ичивари подсунул края листа под два ремешка на жесткой стороне сумки, выбрал перо. Борцы с пожарами за это время освободили коня от назойливой опеки, добыли огонь и запалили такой факел – хоть зови вторую бренд-команду!

– У бледных, как мне рассказывал дед, – начал Ичивари, осматривая кончик пера в рыжем факельном свете, – преступления случаются по пять раз на дню и ночами – вовсе постоянно.

– Дикий народ, – согласился младший из пажей, подозрительно светлокожий для махига. – Магур и нам говорил: пожаров у них – страсть как много. А еще...

– Бледные придумали надежный способ ловить хитрых злодеев, раз их много и искать приходится часто, – продолжил Ичивари. – Для ловли требуется навык. Ведут же поиск так: сначала осматривают место преступления. И записывают все. Потом опрашивают всех, кто что-то видел и слышал. И записывают. Дальше стучат во все ближние дома...

Ичивари обреченно посмотрел на бумагу и перо. Пажи сочувственно завздохали, но помощь в записывании не предложили, хотя Ичивари тайно надеялся на это.

– Я начну записывать с ваших слов, – буркнул он. – Кто заметил пожар?

В ответе сомневаться едва ли стоило. Тощий младший паж, дитя, родившееся загадочным образом у одинокой вдовы героя второй войны, стукнул себя кулаком в грудь и шагнул вперед. «У бледных подобных ему называют «в каждой бочке затычка»», – припомнил поговорку Ичивари. Ходить и стоять пацан не умеет – только бегают. Молчать тоже не умеет и другим не дает, поэтому его обычно и...

– Я сидел на вышке, меня отправили туда по жребию, – сообщил полукровка. – Гляжу: в окнах дедова дома мелькает свет. Я в крик. Пожар! Дед-то в лесу, а библиотека открыта только в светлое время. Мне не поверили, но я настоял. Мы взяли багры и бегом сюда. Уже дымом пахло! Окно разбито было, во – я ногу пропорол. Мы прикатали от конюшни бочку-поилку, приволокли лестницу. Ух, тут дымило уже прилично! Я шасть вверх, бац багром по крыше, потом шлеп...

– Не спеши, я записываю, – потребовал Ичивари, едва дописавший со всеми сокращениями до «разб. окн.». К тому, что Магура «своим дедом» привыкли звать почти все дети в поселке, он уже привык, хотя было время – ревновал и обижался, особенно по весне... – Сколько было времени, когда ты спустился с вышки?

– Тень старосты секвой легла на... – начал было полукровка, всегда старавшийся показать свой опыт в лесных делах, но уловил хмурость сына вождя и осекся. – Ох, прости. Полдевятого. Как раз на университете часы отбили «бдынь», когда я свалился с вышки. Ну, значит, я бац багром и...

– В каких окнах тебе почудился свет тогда, при взгляде с вышки?

– Не знаю... Ага... В разбитом и вон том, в выгоревших, короче. Точно. Слушай дальше.

– Кто-то был на конюшне?

– Кобылы, – подмигнул неугомонный свидетель. – Они не спали, а конюх спал. Мы бочку выкатали, так он даже храпеть тише не стал! Хотя всем известно: махики не храпят, только бледные...

– Кто был на улице?

– Отправьте этого болтуна снова на вышку, – низким рассерженным голосом велел Банвас. – Он что, один будет рассказывать за всех нас? И привирать, как распоследний бледный злодей. Мы ему сперва ничуть не поверили, он по три раза за ночь кричит «пожар», если ему скучно. В общем, он нас довел и мы погнали его всей командой... даже багры похватали сгоряча. Чар, ты же знаешь: он кого угодно доведет. Значит, про полдевятого я не помню, может, он упал нам на головы именно в это время. Но без четверти часы били, это я заметил, когда мы уже выгребали тлеющие книги прямо в окна, как раз он и он бросали и накрывали тканью. Я и он полы ломали, три доски подгорели до сердцевины, я решил не рисковать перекрытиями. Что еще? Когда мы только-только прибежали оттуда по улице, никого здесь не было. Потом я не могу сказать точно, как бочку подтащили, я уже был в доме и не высовывался. Сперва дверь пришлось ломать: замок на ней снаружи, он был цел. Без четверти тут толпа набралась, я уже ломал полы и ходил к окну, выбрасывал доски, так что всех стоявших внизу помню, дай сам запишу.

– Пиши, – охотно согласился Ичивари. – Кто нашел огниво?

– Я. Сейчас допишу, пойдем наверх и покажу, где в точности оно лежало.

– А камень? Вот этот, гляди.

– Вообще не понимаю, почему он важен. В углу валялся, его вождь подобрал и унес вместе с огнивом.

Банвас закончил записывать, старательно поставил жирную, похожую на кляксу, точку. Точнее, сперва он уронил кляксу, а после скруглил ее для красоты. И вызвался нести сумку: точка никак не желала сохнуть, так что спрятать листы бумаги не представлялось возможным.

Сменив пожароопасный факел на маленькую тусклую лампу, вся группа миновала грубо взломанную дверь и затопала по темной лестнице. Ичивари хмурился, нащупывал пальцами края ступеней и пытался вспомнить, какие именно книги хранились в выгоревших комнатах. Было бы ужасно утратить даже малую часть записей, собранных дедом. Того бледного старика, что начал собирать библиотеку, не стало весной. Хоронили его всем поселком, даже вождь пришел и положил перо и плетеный знак духов, тем признав: не всегда отенок кожи решает, велико ли уважение к человеку. Малышня еще и теперь иногда хлюпает носами, вспоминая любимого учителя письма и счета, и на его холме всегда есть цветы... Нет, те записи хранятся на первом этаже, в дальних комнатах. На втором книги стали расставлять не так давно, когда нехотя признали: дед Магур всерьез ушел и в дом не вернется. Три стены сплошь закрыли полками. Свалили на них неразобранное и не самое важное: старые, неточные карты, первые из составленных махигами, – есть более новые, и прежние хороши лишь для примера, мол, раньше мы вон как делали. Что еще было в комнате? Тонкие стопочки листков, грубо и неумело сшитых ремешками и нитками: их приносили ученики малого университета. Раз дед ценит слова старых, каждый счел необходимым расспросить своих и записать для общего блага их слова. В коробках на полу, возле полок, лежали такие же каракули детворы дальних поселков. Возле стола копилась всякая всячина, что находилась в работе. Сам Ичивари и еще семь учеников большого университета хотя бы час в день уделяли сортировке завалов. Вносили записи в единый каталог – это слово вспомнил кто-то из бледных, на новой земле оно сохранило прежний смысл.

– Каталог уцелел? – спросил Ичивари, входя в комнату и с огорчением изучая следы пожара.

– Я спас его первым делом, – отозвался Банвас. – Шкуру на брюхе спалил, руку вон попортил, но со стола забрал. Цел, только уголки потемнели. Добротный переплет на нем. Полный.

Ичивари согласно кивнул. Полным переплетом привыкли называть кожаные футляры с застежками, прячущие листки так, что даже вода их не враз промочит, упади книга в лужу

или ручей. Если каталог цел, можно наверняка узнать, какие записи были в работе вчера и позавчера и что именно утрачено. Пока же сын вождя забрал у одной из пажей лампу, начал без спешки обходить комнату и диктовать Банвасу, смирившемуся с участью писаря. Видимо, клякса сделала его совестливым...

Причиненные огнем разрушения были относительно невелики. Глядя с улицы на закопченные стены и черные провалы окон, Ичивари ожидал худшего. Плотнo стоявшие на полках книги пажи выбрасывали в окна, цепляя за тлеющие переплеты, а внизу, на улице, поливали водой и накрывали плотной тканью. И, как сами они гордо заверили, у большей части записей пострадали именно переплеты и края страниц. Утраты текста невелики и восстановимы. Сильнее всего пожар попортил новые полки, которыми решили разгородить большую комнату на две части. Их не успели доделать и тем более – плотно заполнить книгами. Ичивари двигался медленно, хмурясь и осторожно обходя взломанные полы. Слушал пажей и недоумевал. Он совершенно запутался.

– По всему получается: разбили окно и пролезли в эту комнату, раз дверь внизу была заперта на замок. Так? И если все так, зачем было бить окно? Стекла в переплете мелкие, значит, только чтобы открыть защелку... Но у деда в доме все окна без запоров. Толкни – и вперед, в комнату... Шума меньше!

– Камнем разбили, ну и мудр наш вождь, – восторженно охнул младший паж. – Он сразу стал смотреть по углам, как сюда прибежал. Вон там лежал камень.

– Камнем, а как иначе, – хмыкнул Ичивари, бросая на болтуна уничижительный взгляд. – Важно не чем, а когда. Это ясно?

Ичивари добыл камень из свертка с вещами. Вручил притихшему ненадолго полукровке и велел идти на улицу и бросать оттуда в окно. Открытое, само собой. С пятой попытки камень лег примерно туда, где его подобрал вождь. Теперь уже все заинтересованно пожимали плечами: зачем было бить стекло? Горело в другом месте, камень лежал в наименее пострадавшей части комнаты...

– Пока оставим это. Где было огниво? – попробовал задействовать вторую вещь Ичивари.

Пажи дружно указали на пол почти у самой двери. Ичивари тяжело вздохнул, отказываясь понимать поведение бледных. Если, конечно, дом деда подожгли именно они. Дверь внизу заперта. Огниво лежит в стороне от пожарища: словно специально положено на видное место... Даже допустив, что вор имел ключ и ушел по лестнице, заперев затем замок снаружи, к разгадке приблизиться не удастся. Зачем рыться в сумке или карманах, уже пройдя всю комнату? А если не рыться, то как еще получится выронить вещь? И как можно не слышать, что она упала? Отчаявшись разобраться, сын вождя решил попробовать понять иное: где вспыхнула первая искра пожара? Пажи усердно вспоминали, вздыхая и косясь на Банваса, который говорил меньше прочих: ведь ему доверили записи! Оказывается, это удобно, это делает тебя важным и даже дает право иногда задавать собственные вопросы.

– Значит, здоровенная дыра в столе, тут и тут доски, которые пришлось выламывать из пола, – завершил опрос свидетелей Ичивари. – То есть подожгли бумаги на столе, а вы прибежали так быстро, что на ближний короб огонь и не перекинулся толком, он пошел по этой вот дорожке, выложенной для него злодеями, вмиг добрался до недоделанной средней полки. Выходит, она была важна? Не задай некто огню направление смятыми листками бумаги или чем-либо еще, первой бы занялась иная полка, ближняя, у стены... Банвас, отряди того, кому доверяешь: надо изучить большой каталог наших книг и понять, что хранилось на полке, что удалось спасти и не пропали ли некие книги до пожара.

Рослый махиг сразу же выделил среди пажей самого младшего, наиболее шумного и суетливого, и отослал его. Задумался и указал еще одному взглядом на дверь: ночь беспокой-

ная, нельзя без присмотра бегать и расспрашивать, тем более – недорослю со светлой кожей, смутным происхождением и явной склонностью лезть в чужие дела слишком уж рьяно...

Ичивари не оспорил решение. Вернул себе листки – плотно исписанных накопилось уже пять – разложил на подоконнике и просмотрел. Пощупал белые перья в волосах, улыбнулся на миг, снова припомнив, кем подарены... На душе стало сразу и тепло и тревожно. Если в поселке такое творится, мавиви может и в лесу оказаться в опасности. Хорошо, что с ней дед. И плохо. Вдвоем они возьмутся за то, что каждому по отдельности казалось непосильным. Как-то оно поддастся теперь?.. Так, если вернуться к поиску поджигателей. Что настораживает в записях? Ведь мелькнуло на самом доньшке души сомнение. Короткое и стремительное, как тень орла в вышине... Он не успел перевести взгляд разума и не проследил полет. Но если попробовать его угадать?

– Банвас, ты помнишь этого Томаса, бледного? – нащупал след сомнений Ичивари.

– Вроде... старый, горбатый, прикашливал все время и шаркал ногами. – Махиг сердито потер затылок. – Обычный он. Жил на окраине, занимался невесть чем и никому на глаза не лез... Ничего особенного и все привычно для бледного, помнящего войну.

– Все необычно! Я не помню его лица, я не могу сообразить, чем он занимался. Мне совсем не ясно, почему бледный, помнящий войну, живет в нашей столице и кто ему разрешил? Сюда допускали только тех, кто заслужил такое право, доказав полноту своей души. Я, сын вождя, ровно ничего не могу вспомнить о заслугах Томаса. Попробую иначе, как у них там... фамилия, да. Это я обязан помнить. Томас Виччи. Никто, не занятый ничем... Нет, погоди! Он же сводный брат нашего профессора, Маттио Виччи.

– Большой университет, отделение горного дела, – сразу согласился Банвас. – Теперь и я получше вспомнил Томаса. Он живет в поселке из милости, за него просил старый Маттио. Сказал: «Брат плох, память его подводит, в лесу плутает и троп не находит, знакомых не узнает».

– Именно, – оживился Ичивари. – Три года этот Томас живет в нашей столице, он помнит войну, и он никому не знаком, он неприметный. Но сам-то...

Сын вождя осекся и замолчал. Нельзя назвать человека злодеем только потому, что он своей внешностью и загадочностью вдруг показался похожим на злодея. Слишком просто. Или в самый раз? Сколько еще людей опросить, чтобы узнать наверняка?

– Он делал вид, что выжил из ума и утратил остроту зрения, притворялся почти слепым, – поддержал Банвас. – Кто бы догадался свалить на него вину в поджоге библиотеки, зная, что бледный уже не способен читать? Зато сам бы он уронил огниво, не заметил и не поднял: глаза у него слабые...

– Погоди. Если он обманщик, то его глаза в порядке, а значит, он бы нашел огниво, – возразил Ичивари, теряя надежду закончить записи немедленно и ни в чем больше не сомневаться. – К тому же у профессора Маттио тоже слабое зрение, он совсем слепнет, это известно каждому. Значит, недуг у них с братом схожий, это понятно...

– Пошли к старому Маттио. Потом к его соседям, а дальше к тем, кто видел вечером Томаса. Так, наверное, – предложил Банвас.

Младшие пажи дружно закивали, с обычным для них восторгом внимая речам рослого махига: он старший, умный и во всяком деле лучший. Он учится в большом университете, сам пришел из дальнего северного поселения и его приняли...

– Сначала мы сходим к старому гратио, – осторожно высказался Ичивари.

– К нелепому недоумку, который обольщает бледных речами о чаше света? – презрительно скривился Банвас. – Думаешь, он поджег библиотеку? Так он же во вторую войну руки лишился и растерял здоровье, ему по лестнице не вползти сюда, задохнется и скиснет на полпути! Опять же зачем однорукому такое огниво?

– Он не обольщает, он правда верит в эту их чашу света, в Дарующего и весы деяний, – покачал головой Ичивари. – Я тоже его презирал, но Магур мне напомнил: Джанори ходил разговаривать к бледным на корабль вместе с махигом и закрыл старика, когда люди моря стали стрелять... Поэтому он и живет в столице, его признали обладающим правой душой, родным лесу.

– Ну да, – буркнул Банвас, не желая принимать сказанное. – Мой дед твердил, что бледный просто оказался за спиной у того махига и все приключилось само собой... И что люди моря не добились его специально, отправили к нам подсылком. Ты сам обозвал его в лицо бездушным. Помнишь – по весне?

Ичивари ощутил, как сказанное однажды в гневе – дед обещал, что так и будет, – давит на плечи тяжестью неизбывной вины. Он весной много кому говорил грубые слова. Банваса высмеял – мол, ничтожный род и занимается жалкой возней с пажами-малышами. Полу-кровку, младшего из пажей, в беседе с отцом предлагал изгнать из поселка и еще назвал его мать грязной, предавшей память погибшего мужа-махига. О том разговоре никто не знает... отец выслушал, не перебивая, а затем наказал. И велел никогда больше не затевать неумных речей. Глаза у вождя в тот вечер казались особенно темными и утомленными... а на следующий день он впервые с осени спросил у матери, не передавал ли вестей Магур. Надо полагать, заметил, как сильно изменился сын, как его душа корчится и сохнет, пожираемая силой знака огня. Теперь все в прошлом, душа расправилась и впитала полноту ночи в долине Ив. И страшно стало вспоминать свои слова и дела – такие чужие, мерзкие, мертвые, принадлежащие настоящему пню горелому, не зря его так назвала Шеула.

Листки Ичивари убрал в сумку недрогнувшей рукой. Прошлое создает боль и строит стену отчуждения между ним и многими людьми. Значит, надо эту стену ломать. Не жалеть себя и не прятаться. У него хорошая память, он молод, и он знает, что говорил и кому именно. И как сильно этим обижал. Лицо Джанори тоже помнит, потому что и тогда было больно: он назвал гратио в полный голос бездушным, тот обернулся на хлесткий окрик... Пожилой однорукий бледный был слаб, и оскорблять его – означало ронять свою честь в грязь, а он ронял и еще топтался сверху...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.